

НОВОСЕЛЫЕ

24-25

НЬЮ-УОРК

1 9 4 6

NOVOSSELYE

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editor S. PREGEL

Editorial and Administrative Offices:

330 West 72 Street

NEW YORK CITY

Telephone: ENdicott 2-1660

СОДЕРЖАНИЕ :

Леонид Зуров. Петроградская ночь	3
София Прегель. Мальчик из Гарлема. Новая Англия	10
Нина Федорова. Красавица	12
Ант. Ладинский. Лирический театр	21
В Варшавский. Младший лейтенант Данилов	23
Т. Остроумова. Стихи	36
Е. Рубисова. Метаморфозы	38
П. Ставров. Стихи	52
Елена Антонова. Стихи	54
Алексей Ремизов. М. М. Пришвин	55
Вадим Андреев. Счастливый дом	58
Марк Слоним. На разные темы	70
М. Лазерсон. Победа естественного права	77
Владимир Дукельский. Музыкальные итоги	82
С. Дубнова. Ренессанс романтики	93
Ю. Терапиано. Новая Атлантида	101
Н. Угримов. Земляки	105
Выставка Александры Прегель	111
Русский Кружок при Колумбийском университете	113

Your Patriotic Duty

IS TO BUY

WAR BONDS

and Stamps

INTERNATIONAL RARE METALS REFINERY, Inc.
New York, N. Y.

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 24-25

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1946

ЛЕОНИД ЗУРОВ

ПЕТРОГРАДСКАЯ НОЧЬ

Ему повстречалась оживленная группа. Молодые женщины, офицеры смеялись.

— Знаете, какая глупость, — сказал Лосеву один из них, — автомобиль у нас отобрала какая то солдатня.

— Где это?

— Да неподалеку. Говорят: скажите спасибо, что в казармы не увели. Патрули Павловского полка.

Раздался смех.

— Быстрее, — сказал женский голос и взявшись за руки, смеясь, они побежали вперед.

— Погодите, — кричал кто-то вслед, — господа, дайте дыхание перевести, не так быстро.

Потом к нему привязался босяк, подпрыгивая по воробьиному, попросил одолжить папироску, а прикурив сказал:

— Холодновато.

Все мешалось. Хотелось забыть все то, что он видел сегодня, но это сливалось с разговорами, лицами, планами, предположениями, надеждами, чаяниями — с обманом и ложью. Дико было. Все путалось и казалось, каждый человек

*) Глава из романа «Зимний Дворец».

теперь сам по себе, нет пристанища, одиноко и холодно на земле, в огромном городе Империи, где воды не переставая льющейся Невы связаны с диким озером и ночным морем. Ледяной холод пронизывал его. И чувство было такое, что он бродяга, вне всего, навсегда лишен дома.

И вот перед ним спящая столица, раскинувшийся широко Петроград с открытыми улицами, площадями, немирными окраинами, запасными, переходящими на сторону Смольного полками, вошедшими в Неву флотом. Что же это? Чувства его путались — то, что он видел, не выяснило ничего. Астория с заговорщиками, хлестаковщиной. Сумасшедшие, запутанные политические головы в Мариинском дворце. Все происходило не так, как еще недавно он себе представлял. И сейчас он чувствовал себя в этом мире со своими мыслями странно. Все совмещалось, и жизнь представлялась таинственной и огромной — с фронтом, Псковом и черным, загулявшим накануне зимы Петроградом, в котором и он, и Алеша, и вот эта гуляющая сейчас под фонарем взад-вперед девица, и охраняющие дворцы юнкера, которые недавно попали в училище, воинского дела не знали, а их за нехваткой верных солдат послали на стражу в дикую, грозившую всеми несчастьями петроградскую ночь. Странно было от обилия образов, от того, как они открывались. А самое дикое было то, что в эту ночь он узнал: гарнизон с самого начала революции правительству не присягал, и с ним, желая вывести его из столицы, при бессиллии все хитрили, начиная с мартовских дней, и для того, чтобы его подчинить, был разработан проект организации петроградского фронта, прикрывающего доступ к столице.

Мариинская площадь была на редкость пуста. Был освещен холл Астории. — Эге, да тут рано спать не ложатся, — подумал Лосев, входя в номер Алеши. Мягкие, заглушенные шаги слышны были по коридору, чувствовалось, что отель живет всю ночь напролет. В соседнем номере играли в карты, цыганское пение было слышно, словно издали доносились женские голоса. Он чувствовал себя смертельно усталым и

хотя сразу заснул, но спал дурно — душно было, мозг продолжал работать — то, что он видел, еще более запутанно продолжалось, и во сне он не мог успокоиться, и чувство было такое, что надо пробиваться через все впечатления, но их было много — на фронте, в вагоне и здесь, все смешалось, а люди, которых он видел, — каждый сам по себе, в этой жизни. Он заснул, увидел нелепейший сон, проснулся от духоты — и, забыв, где он, начал осторожно ощупывать, как слепой, стену. Землянка? Нет, не землянка, гладкая стена. — Ах, — опять засыпая, сказал себе он, — я в Астории, — и вспомнил, как после ночной переправы через черную реку, после работы с солдатами на понтонах, он, смертельно устав, проснувшись в землянке, осторожно нащупывал пальцами пол, думая: не вода-ли? А сон не кончился. Астория, понтоны, вода. Что за чушь! — думал он, — и перед ним открылась — Дворцовая площадь, — безлюдна, пуста, а из дворцовых окон смотрит на него бледное, призрачное, почти студеное, не имеющее ни форм, ни лица, близкое туманам, рыбам, невиской воде, — страшными глазами глядит на огромную площадь.

— Дама тик, — сказал ему полковник генерального штаба, — в древности была при печальном интересе и имела на голове высокую шапку, и над нею — корона, а на ногах вместо пальцев, дьявольские когти. — Позвольте, что значит при печальном интересе? — хотел он спросить, хотя и помнил, что так говорила, раскладывая карты, в варшавском предместье босая, с потрескавшимися пятками, с падающими на плечи волосами, гадавшая ему беременная цыганка. Но полковник опередив его, спросил: — Вы были в Большом театре в Москве на Государственном Совещании? Вы обратили внимание, что на сцене были декорации к Пиковой Даме? Это продолжение. Пиковая дама здесь, в Зимнем Дворце, — и обернувшись к темноте по дирижерски взмахнул руками, — у него даже китель наморщило на спине — и оборачиваясь через плечо, очаровательно улыбнулся. Лосев услышал кругом музыку ночную Чайковского, — полковник руководил ею пле-

чом, рукой, головой, протягивая вперед черную с серебром как камышинку тонкую палочку и нежно ею водя, выписывал закругления, круги и овалы, протягивая к музыке руки — и та поднималась все выше и выше. Лосев медленно шел по лестнице вверх, и она вела его, это он сразу же понял — не то во дворец, не то в княжескую ханскую ставку, и он уже видел восточно европейскую обстановку, пеструю с драпировками, статуями и коврами, смешанную с затканными золотом восточными тканями, вещами, которые были ему не нужны. Он попал в бесконечную залу, а стены все расступались, и маленькая легкая китайка в синих шелковых шальварах, улыбаясь, кивая, полубегом вела его вниз, сгибаясь при частых поклонах, прижимая руки к груди, — китайка с живыми, влажными темными глазами и черными гладко причесанными волосами вела его не то во дворец, не то в церковь — да, там было много золота и резьбы, паникадила, колонны, переходы, золоченые рамы; ему не было видно, служил ли священник в глубине, перед залитым рассеянным солнечным светом иконостасом, но как то случилось, что и он, Лосев, очутился вдруг среди всех и всего, а тут были и дамы в шелку, и важные и сердитые чиновники, и все сановны, уверены, в лентах и орденах, в богатом, приличном, степенном, а он вдруг почему то оказался оборванным, обтрепанным, босым, в нищем рубище — в дыры видно голое тело, — диким в чинной и убранной обстановке, и не просто он, Лосев, а в каком то странном юродстве — да его и приняли за юродивого, а он, улыбаясь смущенно, кланяясь, изгибаясь, как бы извиняясь перед ними всем своим существом, незаметно скользил между ними, чтобы от этого чина избавиться и поскорее на свободу уйти и путаясь, отступая, пропуская иных, то лпяясь, то боком, все же продвигался вперед, и ему казалось, — вот, вот свобода откроется ему, — хотя его по пути и уговаривали и стыдили, говорили — так жить, братец, нельзя, или смотрели на него строгими и негодующими глазами, и какие то слуги, чтобы избавить всех от внезапного неприличия, показывали

ему выходы и пути, путая его и себя, так как видно было, что устройство дома и им, этим уверенным и одетым в шелк слугам так же, как и ему, не знакомо, — а он, обманув их, уже бежал один, хотя и видел — опять не то, опять заблудился, и, неожиданно раздвинув занавески, попал в комнату княжескую, где на низком ложе, на синем бархате, на волчьих мехах увидел умирающего старого князя — громадного, с пробившейся седой щетиной, холодными глазами, жестокого степного орла, которому в золотой чаше что то подносили, и там было душно, безвыходно и тяжело. Спасаясь, он вскочил и в отчаянии заблудился, думая, что уже больше для него никакого выхода нет, опять те же начнут попадаться; он опрометью бросился вперед по узкой лестнице и поднимался, пока не очутился на крыше, где оказался не только он, но и забежавшая сюда на площадку, как во время землетрясения, молодая женщина с двумя детьми на руках. А небо было золотое, в росте, движении. Восход? Не восход, но оно сияло и жило в пламени великом и все кругом колыhalось и не было уже в мире спокойного места — пожар не пожар, но то, что случилось в мире, все потрясло, а крыша по восточному была плоска, со скользящим наклоном, и вот она стала не то что наклоняться, а медленно колебаться, и он тогда, в опасности, опять нашел себя под этим ликующим небом, и его грудь наполнил восторг, вдохновение полонило его. После этого он очнулся, провел рукою по лицу, вспомнил что он в гостинице, в Петрограде. После фронта казалось душно, физически несвободно. Но что на улице, там — думал он, и ему во сне почудилось, что он встал — коврик был под босыми ногами, а потом натертый воском паркет, скользкий пол. Он подошел к окну, фонари горели на черной улице, высокие темнели дома. Двойные рамы были забраны глухо. — А там уже страшно — сказал себе он, нащупал было выключатель, но подумал: нельзя, будут по свету стрелять и открыв форточку, в рубаше, голоногий с крестом на шее, материнским тяжелым образком, вдохнул особый воздух сложной петроградской

жизни, который входя в комнату холодом разливался по голым ногам. — Что же это? — спросил кто-то. — Слышишь, стрельба? — Нет, это одиночные выстрелы, балуют черти, распустились, — сказал прапорщик Константинов. Он подошел к постели, свалился и сразу заснул. Простуда мучила сильно — в комнате с центральным отоплением после фронта спать было тяжело, в горле пересыхало, он часто нервно просыпался, — ему чудилось: он с Константиновым объезжает фронт, но им мешают — то останавливают, то, спрашивая пропуски, окликают, а солдаты все идут и идут. Сквозь сон он слышал, как вернулся на цыпочках Алеша, и чтобы его не будить, не зажигая света, раздеваясь, вполголоса обменивался впечатлениями с незнакомым. Тот, зевая, смеялся. — Он спит, кажется, — сказал Валуев, и тихо позвал: — Леша! Спит, спит. Уморился, сердешный. — Ну она сегодня на редкость была пьяна, — сказал другой. — Я говорил: — Оля, не мешайте вино с ликерами. Ах, глупость какая: забыл купить папирос! — А вот, возьми на ночь. — Ты думаешь у меня с ней выйдет? — А почему же нет, — ответил Алеша, — ей скучно. Ну сегодня и ты был бесподобен, — раздеваясь, сказал он весело, — а теперь спать, спать. Который час? — Пятый.

— Скажите, какое время, — но это уже сказал не Алеша, а прапорщик Константинов, с которым он сидел, а рядом с ними был пожилой человек с мешочками под глазами, в штаб-офицерском чине, но почему то в простой солдатской шинели. Они сидели на старом окопе и говорили, а за окопом озеро и много гуляющих по песку и плавающих на воде птиц. И Константинов сказал: вот это рай! И это будто бы под Новгородом, не то в Старой Ладогe, не то на Волхове, — какие то чудесные, не открытые с детства места, до которых он только сегодня добрался — мирная сухая дорога, разливы, весна, они бродили, искали и повсюду древность, и в пейзаже что-то цветное, сияющее, открытое, детское, умопомрачительно хорошее, и на соборной стене полуразрушенного храма фрески свежи — большой образ Богородицы — и эти новгородские

развалины, с перемежающимися озерами подходили как то странно среди свежей зелени, обновленной листвы, рек и озер к сияющему среди развалин новому Петербургу. Но что это — Волхов около Старой Ладogi или Нева: вода бьет и течет из под развалин церковных, растут травы, березы, и разум подсказывает, вмешиваясь, что это сон, этого нет, но зрение и все чувства, не слушая того, что говорят извне, ощущают себя здесь свободно и хорошо, как то особенно внутренне тихо, по добромy. Он сидел с ними, старик в солдатской шинели... Просторно. Зелено и весна, и вовсе это уже не на фронте, то все кончено, а просто отдых, ну как у реки после разлива — там зацвело, там запушилось, зазеленело, они в пути, не то домой, не то куда-то на поклон, но почему то в шинелях, а в общем — в пути сошлись и варят чай, и слушает их, подкладывая щепочки, приглядываясь то к ним, то к костру — Ефим, убитый под Двинском стрелок.

МАЛЬЧИК ИЗ ГАРЛЕМА

Февральский свет холодел,
Дождем примятый и сивый,
И месяц в острой ладье
Скользил меж крыш торопливо.

Казалось, воды горят,
Река крутая дымится,
На камни ночи заря
Багряной падает птицей.

Дрожа в седой пустоте,
Звезда сияла с востока,
Когда над заревом окон
Мелькала скорбная тень.

Все тише и незаметней
Пролетов были межи,
Он шел один, восьмилетний,
В мерцанье улиц чужих,

Бездомным ветром завьюжен,
Одетый в мерзлую гарь...
«Ты — вор», — трезвонили лужи,
«Ты — вор», — гнусавил фонарь.

И снова в вечер вгрызались
Машины в злобной тоске,
И слезы вновь подмерзали
На черной круглой щеке.

Но средь огней и туманов,
В пустынной, брызжущей мгле,
Он шел размашисто-пьяной
Походкою капитана
На трехмачтовом корабле.

НОВАЯ АНГЛИЯ

Там ясень вздымает согбённый
Колючую ветви клюку,
И мхи по темнеющим склонам
Прохладною пеной текут,

И яблонь осенняя радуга
Сквозь сумрак долины видна,
Растет, как над стынушей Ладогой,
Восторженная тишина,

И в час одинокого бденья,
От шелеста оторопев,
Стоят золотые олени
На узкой и старой тропе,

И светят, разбросаны щедро,
В разливе созвездий других,
Орешки сибирского кедра
На небе вермонтской тайги.

НИНА ФЕДОРОВА

КРАСАВИЦА

Те, те, те и те, те, те.

А. С. Пушкин

О жизни моей надо бы рассказывать слогом красивым, возвышенным и с чувством. Но некогда. Расскажу, как придется.

Я — женщина не от мира сего, и однолюб вдобавок. Всегда называли красавицей. Вы понимаете эту комбинацию? Обречена на страдание. Фатально. Но что поделаешь, кому скажешь?

Училась я в лучшем институте Сибири. Правда, не закончила, но это уже деталь. В наше время мы получали гуманитарное образование, то-есть само собою разумелось, что женщина создана для любви. И в поэзии и в прозе об этом писали просто: «Хочу одежды с тебя сорвать!» Но практика любви, о дорогая! — мало общего имеет с теорией. Только послушайте, дорогая.

Во-первых, кого любить? Бог сотворил Еву для Адама, и эта счастливая женщина проснулась к жизни уже в его объятиях. А мы, современные женщины, что? Цивилизация изменила положение. Ищешь своего Адама по свету сама, не только без посторонней помощи, но прямо-таки при полном скажу, сопротивлении всех остальных женщин в мире. Больше скажу, мужчин становится угрожающе мало. В этом одна из самых неприятных сторон войны. Тут уж и красота не поможет. В войне ищите источник женских трагедий. Теперь обо мне.

Я влюбилась впервые в 1914 году, весной. Не то, чтоб очень влюбилась, но вижу Митя страстно ухаживает, цветы

Новоселье

посылает, конфеты, руки жмет ужасно. Дай, думаю, выйду за Митю. Чего ждать? Не всякий день девушке делают предложение. Митя — офицер. Тут, кстати, первая мировая война. Тогда это было ново. В обществе стали модны героические чувства. И я туда же: «невеста героя». Ну, думаю, если убьют Митю, буду «вдова героя». Почти титул. И пенсия наверняка. Вы чувствуете поэзию положения? И институт бросила. Чего там кончать!

Мы повенчались. Все было трогательно и живописно. Но все же Мите надо ехать на войну. Я говорю ему: «Заклинаю, будь осторожен. Я — однолюб. Тебя убьют, так я куда же? Думай об этом!»

Уехал. Плачу. Получаю письма. Шлю телеграммы. Переменила прическу. Всегда бледна. Всегда в тревоге. Вижу сны. Вздрагиваю. «Молодая жена героя». В театр иду только в черном. Портрет мужа в медальоне. Целую перед сном. Все-таки пища сердцу.

Затем убили Митю. Думала — не переживу. Как плакала! Но, вижу, пухну от слез. Ресницы стали падать. Нет, думаю, лучше успокоюсь. Еще выпадут совсем ресницы — и кончена жизнь. Кому нужен урод? Нет уж, говорить буду, и сны видеть, но плакать не стану. И вернулась к жизни понемногу. Живу. В глубоком трауре, конечно. Но, вижу, и это не ново. Куда ни повернусь — другая «вдова героя» и тоже говорит об «уединении сердца». Ах, тяжело было! Думала, конец. Погибла молодая жизнь. Только вдовец и мог бы понять это.

Но надо жить, но жизнь зовет. Остригла чёлку, забыла траур. Решила, поборюсь еще за счастье!

А в городе вдруг стало много мужчин. Бежали с фронта. Была уже революция. Белые отступали, красные наступали — и наоборот. Но город полон — офицеры. Встречались даже гвардейцы невиданных нигде полков. Артиллеристы без пушек, но с какими изысканными все же манерами. Саперы. О казаках и не говорю. Железнодорожные полки. Стрелки.

И кавалерия, хотя, конечно, уже без коней. Боже мой, в таком-то многолюдстве да одинокой, да красивой женщине, да не найти всего на всего одного только мужа, да, Господи, да на что же это будет похоже!

Думаю, осмотрюсь кругом. Все эти офицеры одиноки, конечно, и несчастны, но храбрыся. И все как-то странно похоже на покойного Митю. Для меня, для однолюба, это было как-то таинственно, ведь до чего все похоже. «Минувших дней очарованье», сказала я, «зачем опять воскресло ты?» Махнула рукой и пошла влюбляться.

Но чувствую — это не то. Что значит нежный взгляд, комплимент, пожатие руки, гость к обеду, прогулка по саду — насытит ли это мое сердце? Я не от мира сего, я не умею разменивать сердце на мелочь. Хочу быть любимой и пылко и страстно — и, главное, вечно, без охлаждений и измен, без элемента риска или случайности в чувствах, другими словами, хочу выйти замуж, венчаться в церкви и без развода. Дафнис и Хлоя — не меньше. Но где найти мой идеал и как искать?

Ах, все дороги в этом направлении исхожены и избиты, все способы стары. Уж женщины ли их не изобретали? Так нечего и время тратить, стараясь придумать что-то новое. Нет, возьму самый избитый способ и, значит, самый верный.

И стала я сдавать комнаты для интеллигентных жильцов. Я предпочитала одиноких мужчин. Женщина-жиличка меня раздражает. Ей надо уютюк именно в воскресенье утром, именно когда я в розовом пеньюаре в оборочку пью утренний кофе. А вы, конечно, знаете этот русский паровой уютюк? Какой там пар? Там сажа. Утыюк чадит, он пахнет, он портит воздух. И еще эти женские фантазии, эти претензии: «Никто меня не спрашивал сегодня? Вы совершенно уверены? Вы не забыли? Мне должна быть телеграмма! Вы не обронили моего письма, когда принимали почту?» До чего все это мизерно и жалко! Надо бы знать, что если есть одна вещь, которую мужчины ненавидят, то это писать любовные письма. Даже пылкий мужчина едва-ли напишет одно в ответ на женских три.

Так вот, сдаю я комнаты мужчинам, одиноким офицерам, а сама тайно ищу мой идеал. Но не вижу, не могу найти. Все уже в кого-то влюблены, и все куда-то спешат. Не могу найти. Нет и нет. Страдаю. Улыбаюсь днем, но плачу ночью. Вижу, что угасаю. Время идет. И тут вдруг идея: дай, думаю, обращусь к помощи церкви, она нам мать. Но об этом, дорогая, надо подробнее, потому что именно в религии я не нашла помощи.

Началось так. В голову вдруг пришел случай с кем-то произошедший: Иоанн Кронштадтский помог. Беру три рубля, иду в церковь и говорю священнику: «Служите молебен Иоанну Кронштадтскому». А он мне, понимаете, отвечает: «Не могу. Отец Иоанн Кронштадтский еще не канонизирован». Я ему говорю: «Меня эти ваши церковные тонкости не интересуют, кого кто канонизирует и кого нет. Народ молится тому, кто ему помогает. Половина России знает, что Иоанн Кронштадтский помогает, а вы отказываете пастве в его помощи. Служите молебен!» Ничего будто такого особенного не сказала, а вижу священник из себя выходит, покраснел, но сдержался и говорит довольно сладко: «Молебен — против устава. Если хотите — отслужу панихиду». А я ему еще слаще: «А о чем же это мы станем просить в панихиде?» «Об упокоении души». «Чьей?» «Отца Иоанна». Вы слышите это? Я взорвалась: «Ах, так», говорю, «вам дела нет до страданий паствы! Я к вам с собственной тоской, а вы мне предлагаете помолиться о душе священника, которого я и в глаза не видала, да еще не канонизированного. Да меня вовсе не интересует чей-то там загробный покой... Пусть сами устраиваются за гробом. Нечего обременять еще и публику молитвой. Вам бы пастве помочь, а вы»... и ушла. И дверью хотела хлопнуть, но не вышло: должно быть на этот самый предмет тяжелы двери в церквях. Нет, дорогая, до чего же наше священство далеко от жизни! Женщина, преследуемая мечтой любви, приходит за духовной пищей, и ей предлагают панихиду о каком то незнакомце. Я разочаровалась. А потом думаю,

обойдусь без молебнов. Сама стану молиться.

Вот и случилось. Вымолила.

Василий Кондратьевич Жеребилов (я его потом Васильком называла, а он не любил, сердился. Зовите уж лучше Васькой, если на то пошло), так вот, капитан Жеребилов пришел и снял угловую комнату. Без задатка.

Влюбилась сразу. Взглянула — вспыхнуло сердце — и так я осталась навеки.

Был он высокий, здоровый и какой-то очень веселый. Пусть грубый немного, но зато как полон жизни. Ходил в военной форме (в царской, еще не успел износить), острил, пел, смеялся. Дом совершенно ожил.

Бывало, утром умывается — все расплещет — не сержусь. Выйдет свежий, веселый, ручку поцелует. Просит кофе.

— Я люблю, чтобы кофе мне наливали женщина (позднее стал говорить «молодая женщина», а потом — росла любовь — «молодая, привлекательная женщина»). Иного кофе и не стану пить.

Был влюблен. Легко представить. Пришел снимать комнату, думал выйдет большая баба, злая, костистая, а видит — дверь открывает молодая изящная женщина (с колыбели звали красавицей!). И с какой очаровательной улыбкой.

Комната была со столом. Я чудно готовлю. Я жарю только на сливочном масле. Я делаю соус только на сметане. Он умел ценить. Никогда не пропускал еды. Никогда не опаздывал к обеду. За четверть часа уже расчесывает усы и потирает руки. Ждет с нетерпением.

Как он любил филе! И то сказать, умею жить. Немножечко сметаны, когда готово. И не бейте его молотком, варвары! Его надо «валить» осторожно. Ну, и картофель. Берите только маленький, круглый. Отварить, затем поджарить — на масле, конечно, и в сухарях. Маленький соленый огурчик. Берите зеленый, без рубчика на коже. Две-три маринованные сливы — не больше. Парочка вишен — и соленый рыжик. Ах, что говорить! Василёк был мною очарован (на таком-то сто-

ле!). Он говорил комплименты. После обеда целовал уже обе руки. Но тяжелел. «Нирвана!» бывало, только и скажет и идет спать.

Он любил и выпить. Я покупала вино. Рюмка зубровки перед обедом. стакан красного — к филе.

— Вы единственная женщина! — говорил. — Вас надо беречь!

Перед чаем я играла на гитаре и пела. Благородная женщина должна любить музыку. Два-три аккорда — и на моих глазах слезы, а голос вибрирует, дрожит. Иногда подпевал, но больше не в тон.

Не пой, красавица, при мне

Ты песен Грузии печальной...

— и потом оборвет и спросит: готов ли чай?

А с Вертинским был невозможен. Думаю нарочно путал слова. Бывало так:

Вот вы ушли,

И воздух чист и свеж.

Нет, он не понимал искусства, того, что в институте называли «искусством для искусства». Земной был мужчина. Даже спорил о Вертинском.

— Ну, почему вам этот романс нравится, «Ладан», то есть?

— Ах, это так туманно.

— Не туманно, а балаганно. Я в музыке люблю то, что вулканно. Например, марш. В нем движение и сила. Понимаю вальс — женщина в моих объятиях. Или еще застольная песня — в ней веселье и юмор. Но «ладан» оставим на загробную жизнь. Отказываюсь от романсов.

— Но в романсах — любовь! — говорю я.

О любви не хотел говорить. Просто не поддерживал разговора. Я ему, бывало, о любви говорю, а он мне вслух Лескова читает.

Но я-то влюбилась. Я влюбилась со всем трагизмом однеюба. Эсхил, Софокл и Эврипид — о древние трагики! —

и вы не описали этого, не под силу. Такое чувство знают только немногие женщины. И эти женщины обычно молчат. Не станут входить в детали. Зачем говорить? Кому? Над чем еще толпа не смеялась? Публика любит мимолетную любовь. Без фатализма, без пессимизма. Вы ходите в кино? Учитесь. Вот школа для женщины. Лучше научит, чем мать, или даже сама природа. Мужчину надо менять, дорогая, и чем неожиданнее, тем лучше. Тогда он начинает пугаться и беспокоиться. Его не будет клонить ко сну после обеда. А иначе усядется такой сонливый нахал в жизни женщины и сидит до самой смерти.

Но я поздно открыла эту истину. Как я любила! Я вставала в 6 утра, чтобы поджарить и смолоть кофейные зерна — «он любил просыпаться под запах кофе». Я сшила ему — на руках, дорогая! — две чудных рубашки с манишкой в мельчайшую складочку. Шила, и благословляла институт, где нас учили этому искусству. Сама убирала его комнату. Брызгала сосновой водой, не жалея.

Понемногу я отказала всем жильцам, чтобы остаться вдвоем с Васильком. Я ждала: вот-вот сделает предложение. Я обновляла свой гардероб, чтобы быть готовой, и не откладывать свадьбу, и не наполнять суетой дни счастья, когда они придут.

Он, собственно, ничем не занимался. Он искал работу. Это было все равно, что искать клад. Жил, конечно, в долг.

И вот как-то приходит — вижу, новый человек: «Нашел, нашел работу. Проводник вагона на железной дороге!» Как счастлив был, как взволнован. Руки дрожат, рот дергается, и на глазах — поверите-ли? — большие детские слезы. Не думала, что так глубоко может чувствовать. И сама заволновалась, думаю, сейчас и предложение. А он все о себе говорит:

— Я, говорит, уж решил: застрелюсь, если не найду работу к зиме. Вы знаете, спрашивает, что такое для мужчины, для офицера русской армии жить паразитом?

Стала осторожно наводить его на мысль о предложении:
— Знать, говорю, не знаю, но могу понять, как всегда вас понимала, как все с вами делила.

А он свое:

— Видите, видите, есть еще одна пуля в револьвере. Берег для себя. А теперь — буду работать, двигаться, ездить. О жизнь! жизнь! — и зарыдал, как дитя.

Я кинулась сочувствовать. Плачу, обнимаю, целую. Но понемногу приходи́м в себя.

— Мы будем более прежнего счастливы! — сказала я, вытерев слезы.

— Но мне больше не нужна квартира. — Василек сказал это, как самую обыкновенную вещь о самой обыкновенной квартире. — Я буду ездить с поездом и буду жить где прикажут. Не здесь, на конечных станциях.

Это был удар. Я потеряла голову. Я начала сцену. О, это была одна из тех сцен, искусство которых знали наши матери и бабушки. Но тогда мужчина был джентльменом. Он выслушивал. А теперь он уходит. Возможно, мы разучились делать сцены. Мельчает жизнь. И это искусство потеряно. Я кричала. Я рвала на себе волосы, я ломала руки. Он сначала испугался, а потом стал грубейшим образом лить на меня холодную воду. Вызвал доктора. Доктор дал мне порошок, снотворный, как потом оказалось. Думаю, они были в заговоре: пока я спала, мой циник уехал.

Перенесла. Переболела. Как? Не спрашивайте, не задавайте вопросов.

И вот стали приходиться деньги от него. Выплачивает долг. По 10 рублей в месяц. Но разве можно уплатить женщине за обманутое чувство? Да уж если на откровенность пошло, то и за стол, какой я давала ему, не заплатить. Не как-нибудь, с любовью жарила, со вниманием и только на сливочном масле.

И все-таки я на что то надеялась. Как-то раз написала письмо, прошу карточку. Пишу: «Если вы не дали мне ни любви, ни счастья, дайте иллюзию, дайте воспоминания. Ну,

напишите что-нибудь. Вот вы говорили «красавица». Что вы во мне ценили? Где и в чем было очарование?»

Думала, пошлет карточку. Напишет что-нибудь глубокое, интригующее. Буду показывать. Вздохнув, скажу себе-седнику: «Да, была молодость. И я любила, и меня любили. Ах, расскажу вам!» — и жизнь станет полнее.

И на мои неустанные просьбы, с последней уплатой долга (посылал уже по 25 рублей в месяц) послал мне, наконец, и карточку. Что спорить! не стану — видный мужчина. Но преступник, но циник. Вы посмотрите на надпись:

Всего на свете был милей,
Дорогая! Твой филей!

И подобное написать на лицевой стороне.

Перенесла и это. И устала страдать. Успокоилась. Что-ж, думаю, буду тихонько переходить в старушки. Буду благородно выглядеть. Не чета современным пустым и безнравственным женщинам. Даже удовольствие начала находить в ситуации.

И вдруг читаю в газете: крушение. Проводник Жеребилов в числе раненых. Но не жалею, озлобляю сердце: я его туда не толкала. Сам пожал, сам посеял. И вот сегодня приносят письмо из больницы. Одну ногу ему отрезали. Калека на всю жизнь. И вот, пишет, кормят плохо в больнице, а есть ему все можно и хочется. И просит зажарить и принести филе. И называет единственным другом. И как нежно: сами, просит, принесите, лично, хочу видеть ваше милое лицо. В больнице все уроды (я думаю, больница-то бесплатная), хоть бы глаза отдохнули на здоровом женском лице. Но все возвращается к филе: «с грибочком бы, да с огурчиком».

Вот тут бы встать мне во весь рост. Тут бы измерить его глазами и сказать гордо:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

А я? Эх, мельчает женщина: видите — жарю.

АНТ. ЛАДИНСКИЙ

ЛИРИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1.

Я — зритель. Я -- слушатель пенья.
Огромный спектакль предо мной —
Прекрасная драма творенья,
Где гибель, но свет голубой.

Я в лучшем театре вселенной
Сполна заплатил за билет,
За зрелище это, за тленный
Мой праздник и несколько лет.

Я — в кресле из красного плюша,
Я в зрительном зале, дружок,
Где все голубое, где суша —
Подмостки, — а море — пролог.

Мы слушаем в виде вступленья
Высокую музыку гор.
Зеленых деревьев смятенье
Средь бури родил дирижер.

Потом выступают актеры.
Нам тоже назначена роль:
Тебе — жар ланит, как у Флоры,
Мне — бледность поэта и боль.

2.

Жизнь — ветер, листок и орешек.
Живи, мой дружок, на горе,
Где много букашек и пешек
Участвует в этой игре.

А страшный финал — это слезы
Над спящей в гробу красотой,
Но лишь катастрофа среди прозы
Вдруг делает жизнь высотой.

О, ты отлетаешь навек,
Вокзал полон дыма и роз,
Рыданий хрустальные реки
Текут, и трубит паровоз.

И в этих безмерных утратах
Я маленькой пешкой стоял
На черных и белых квадратах
Вокзальных и шахматных зал.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ДАНИЛОВ

Рассказ эмигранта

В эти дни была страшная суматоха. Городская комендатура передавала «сборно-пересыльный пункт» новой приезжей комендатуре.

Я в последний раз обедал с военным комендантом, гвардии майором Кольцовым.

Вначале я боялся говорить, что я — русский, эмигрант. С каким волнением я шел в первый раз в комендатуру, помещавшуюся в здании бывшего почтамта. Красный кирпичный фасад, украшенный алыми полотнищами, с надписями во славу Красной Армии и ее вождей, пламенел в ослепительном блеске солнца, так что глазам было больно смотреть.

У входа стоял часовой с раскосыми глазами и плоским, равнодушно каменным лицом. Перед нами подымались по ступенькам крыльца двое солдат: один без оружия, видимо арестованный, а другой — с красной повязкой комендатуры на рукаве, с решительным и мрачным выражением, утиравший ему в спину дуло автомата.

«Вот оно», подумал я, чувствуя, как отвратительный холодок ползет по спинному хребту: еще в детстве, со времен гражданской войны запавшие в память рассказы...

Мы долго ждали в большом и высоком зале. Я и мои товарищи французы — на стульях у стены, а арестованный солдат — на скамейке под окнами. Он сидел, опустив голову, тупо рассматривая носки своих сапог, и иногда тяжело вздыхал.

Наконец, дверь открылась, и писарь, дремавший в углу, за особым столиком, испуганно вскочил и вытянулся во фронт. Вошел комендант — высокий, слегка сутулый человек,

с седыми прилизанными височками, в золотых погонах и в мешковато спадающих синих кавалерийских бриджах. Рядом с ним шел молоденький лейтенант с расстроенным лицом. Не замечая нас, комендант остановился перед арестованным солдатом и спросил лейтенанта грубым и сердитым голосом:

— Это ваш человек?

— Мой водитель, товарищ майор.

— Да как же это среди бела дня идти с гранатами глушить рыбу! Без документов, без разрешения!.. Безобразие! — сказал майор с глубоким и искренним возмущением. — А вы что же смотрите? Вот в следующий раз посажу его в холодную на сутки. Как тогда поедете? Смотрите, чтоб у меня это-го больше не повторялось!

— Есть, товарищ майор. Разрешите идти?

— Хорошо, идите.

— Товарищ майор, простите, вы не знаете как проехать в штаб Первой польской армии?

Успокоившийся было комендант опять заговорил своим ворчливым тоном:

— Получили задание? Ну, и идите и выполняйте!

Дверь за молоденьким лейтенантом и его шофером уже захлопнулась, а он все еще сердито повторял:

— Где штаб Первой польской армии? Тьфу!

Я подошел к нему и обратился по-русски. Он пожал мне руку с немного озадаченным видом и спросил:

— Вы кто же, француз? А где же так по-русски научились говорить? Мне как раз переводчик нужен, а то ведь я с вашими французами никак договориться не могу. Вы приходите, будете у меня переговорщиком.

Видя мою нерешительность, он сказал:

— Да не бойтесь, я вас не задержу. Когда ваши товарищи поедут домой, и вы вместе с ними поедете. А все-таки, как же вы — француз, а так чисто по-русски говорите?

— Я родился в Москве, товарищ майор.

И тут, быстро, с любопытством взглянув мне в лицо, он

задал вопрос, которого я больше всего боялся:

— Эмигрант?

И вероятно заметив мое испуганное выражение, слегка вспыхнув, поспешно проговорил:

— Даю слово офицера...

Впоследствии он всегда успокаивал мои страхи:

— Да никто вам ничего не сделает. Ну, может, найдется какой-нибудь дурак. Скажет что-нибудь, а вы не обращайтесь внимания. Ведь у нас враги только те, кто с немцами шел. Ну, а уж если так боятесь, говорите — что француз, и все.

С тех пор я и наши французские офицеры обедали у него в комендатуре, в офицерской столовой. Иногда после обеда мы оставались с ним вдвоем, и он с интересом расспрашивал меня о жизни во Франции. Я, впрочем, вскоре заметил, что о хозяйственном и политическом положении на Западе он был осведомлен гораздо лучше, чем я. К сожалению, сам он был плохим рассказчиком.

В этот последний вечер я все расспрашивал его о войне. — Ведь мы в течение пяти лет кроме немецкой пропаганды ничего не читали. У нас, собственно, нет никакого представления о том, в каких условиях проходила война в России.

— Ох, условия были тяжелые, — сказал он, видимо стараясь найти в своих воспоминаниях что-нибудь для меня интересное. — Я с моим батальоном восемь месяцев в окружении был. На плохом участке. Болото, огня не развести. Немецкие окопы в двухстах метрах. А тут целый день по шиколотку в ледяной воде. А ведь знаете, самое главное — чтобы ноги сухие были. Так мы портянки между телом и брюками сушили: одну в правую штанину, а другую — в левую. А спали под открытым небом: нарубишь еловых веток, и прямо как матрац. Со снабжением плохо было, только самолетами подбрасывали. Постройшь утром бойцов, и смотреть страшно: стоят опухшие, и лица, и руки опухшие, как водой налитые. Умирали многие. А работали по 18 часов в день. Рубежи укрепляли. Ведь я инженер сам. И, знаете, никто ничего не

говорил, никакого там ропота.

Он помолчал и сказал, улыбаясь и покачивая головой:

— Ведь наш русский все вынесет. Нешикарный он, не такой как у вас в Европе, а выносливость — страшная. Ему сахара и воды довольно — и воюет, и победит! — заключил он с силой и какой-то задушевной убежденностью. — А то, что у нас есть еще кой-какая отсталость, этого мы не скрываем. Ведь в ту войну, империалистическую, народ еще неграмотный был. Это так быстро не исправишь. Да и у нас вначале ошибки были. А тут еще 4 года войны. Нервы у всех истрепались. Знаете, некоторые думают, что теперь все позволено.

Он опять улыбнулся.

— Ну вот, завтра приезжает новая комендатура. Сами увидите какие русские: мужики, могут нагрубить, а по существу в большинстве хорошие люди.

На следующий день он представил меня младшему лейтенанту Данилову, первому прибывшему представителю новой комендатуры. В стоптанных солдатских сапогах, в стеганых штанах и в старой, почерневшей от пота гимнастерке, лейтенант Данилов действительно, несмотря на золотые погоны, был похож на мужика или на старого рабочего. Было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Спутанные волосы, уже совсем сивые, но еще густые и курчавые, коричневое от загара лицо с глубоко прорезанными толстыми морщинами и варварскими, как бы вырубленными топором, широкими скулами. Косматые брови и нос как у Льва Толстого.

Я смотрел как зачарованный, как своими несгибающимися чугунными пальцами он оторвал от газеты кусок бумаги, насыпал из кисета махорки и медленно скрутил и заглянул «козью ножку», величиной с добрую сигару.

С тех пор как он приехал, началась невообразимая суматоха. Он потребовал, чтобы в 3 дня — «до приезда майора, а то сердиться будет» — все освобожденные французские пленные (а было нас около 6.000) были организованы по-

В. В а р ш а в с к и й

военному, по батальонам и ротам, и переселены в определенную часть города. И в то же время все люди должны были пройти через приехавшие с ним полевые души и дезинфекционную камеру. Я переводил ему, что 3 дня — это слишком короткий срок, что у нас всего 4 офицера, что пленные — не военная часть, а неорганизованная масса. Он кряхтел, вздыхал, но был непоколебим:

— Не могу. Приказ фронта. Майор-то всего два дня дал. Я человек военный, для меня приказ — закон. А душевка — что же, ведь это же культурно, а то вши заведутся. Люди скучены, эпидемии пойдут.

Я приходил в штаб в 7 ч. утра по московскому времени, а он уже сидел там и терпеливо ждал, когда соберутся наши офицеры. Все мы сбились с ног, но через три дня бригада была сформирована, все люди размещены по новым квартирам, составлены списки, и Данилов принимал батальоны, выстроенные на улице перед занимаемыми ими домами.

В это утро мы вышли с ним из штаба еще раньше чем всегда. Мы шли по длинной улице, разрушенной войной и пожаром. Среди обвалившихся стен и карнизов возвышались только обнаженные печные трубы, как бы напоминая, что здесь еще недавно был домашний очаг, вокруг которого, как в незапамятные времена, собиралась семья человека.

На тротуарах лежали еще неубранные раздувшиеся групы лошадей, кучи мусора, каких-то тряпок, красные распоротые перины. Всюду была мерзость запустения: груды кирпича, развалины искалеченных домов и черные обуглившиеся балки, которые казались особенно уродливыми и мертвыми в золотом, блаженно-теплом и живом сиянии встающего солнечного дня.

Когда мы подходили к первому батальону, нам встретилась толпа немцев, большей частью стариков и женщин, с лопатами и метлами, шедших под охраной польского милиционера на уборку улиц. Данилов смотрел на них с каким-то недовольным, неодобряющим видом:

— Смотри, и девушки есть молоденькие, — сказал он, показывая мне на высокую молодую немку в модном меховом пальто. Так же, как и все немецкие женщины, она шла не поднимая глаз, и на ее бледном лице было такое же, как у всех теперь, выражение покорности и страха.

— А тебе не жалко их? — неожиданно спросил меня Данилов.

Что ему ответить? Я никогда не мог смотреть на арестантов и пленных без волнения и чувства какого-то ужасного недоумения. В этом же шествии согбенных стариков, с потухшими, безжизненными глазами, и женщин, боявшихся поднять глаза, было что-то особенно жалкое и страшное, как если бы они были прокаженными.

— А мне жалко. Ведь что ж, что немцы, а тоже живые люди, — помолчав, сказал Данилов. — Ведь они что у нас делали: женщин насиловали, а потом еще убивали, детей в колодцы бросали, или, знаешь, головой об угол дома. Людей живыми сжигали, — говорил он, будто бы оправдываясь, а потом с гордостью прибавил: — Ну, а у Советского Союза политика другая, мы с фашизмом воюем, а немецкий народ не собираемся уничтожать.

Смотр батальонов прошел блестяще. Данилов был, видимо, очень доволен и даже слегка смущен, когда командиры батальонов, с преувеличенно, по-солдатски вытарашенными, выскакивающими из орбит глазами, рапортовали нашим офицерам. Только с ротой эсесовцев произошла заминка: по дороге к нам пристало много переодевшихся в штатское платье французов из дивизии «Шарлемань»; теперь сами пленные вылавливали и арестовывали эсесовцев. Данилов спросил меня, что это за люди, и почему их держат отдельно.

— Это эсесовцы, товарищ лейтенант.

— Какие же это эсесовцы, — сказал он с недовольным видом.

— Как же, товарищ лейтенант, они же добровольцами в немецких войсках дрались.

Он ничего не ответил и шел по фронту, не поднимая глаз.

— А что у этого башмаков нету? — подозвал он меня, остановившись против маленького эсесовца, не понимавшего, что он говорит и растерянно смотревшего на его сердитое лицо. Я спросил у него:

— А что, у вас башмаков нету?

Обрадовавшись, он поспешно мне сказал:

— Нет, есть, но они мне натерли ногу.

— Ну, хорошо, — сказал Данилов, все больше мрачней, — а если нету, нужно будет обеспечить башмаками. Вот скоро придет хозчасть, будем давать. Нельзя, чтобы босыми ходили.

— А это у тебя что? — вдруг спросил он у нашего полицейского добровольца, молодцевато, под офицера одетого сержанта-корсиканца, помахивающего резиновой дубинкой.

Полицейский улыбнулся и в шутку многозначительно взмахнул дубинкой. Данилов по-стариковски покраснел и вырвав дубинку из рук сержанта, запустил ее с такой силой, что она, замелькав концами, описала в воздухе высокую дугу и упала на крышу сарая. В рядах эсесовцев раздался одобрителный смех. Самолюбиво вспыхнув, сержант сказал мне с досадой:

— Передай русскому лейтенанту, что если у меня не будет оружия, я снимаю с себя ответственность за побег.

Данилов, видимо смущенный собственной выходкой, с виноватым и добродушным видом похлопал его по плечу:

— Ну, не сердись, камрад. Ты ему скажи— я его уважаю. Молодец. Энергичный. Правильно, что смотрит за ними, чтобы, значит, дисциплина как полагается. Ну, только палки не нужно. Ты посмотри, у нас так с виду ералаш, а чтобы там кто-нибудь кого ударил, — этого нельзя.

— Да, товарищ лейтенант, но он говорит, что если у него не будет оружия, то он не может отвечать за побег.

— Ну, дам, дам ему винтовку, — сказал Данилов неохотно.

Уже начало темнеть. На берлинской дороге мы поровнялись с длинной остановившейся вдоль тротуара колонной грузовиков с русскими солдатами. На одной машине разухабисто взвизгивала гармонь, и молодой солдат, отчаянно встряхивая кудлатой головой, выкрикивал резким волчьим голосом первые слова частушки и с такой быстротой договаривал конец, что, казалось, звуки рассыпаются вдребезги, как падающий с горки фарфор. И я не мог понять значения слов.

Мы прошли уже мимо почти всей колонны, когда стоявший около одной из машин богатырского роста человек, с выпущенным из-под шапки удалым чубом, посмотрел на нас с любопытством и вдруг с усмешкой спросил:

— А почему не приветствуют?

— Это французские офицеры, — гордо ответил Данилов.

— Ну что же, мы — тоже офицеры. Может, даже повыше, — сказал высокий. И в сумерках я увидел, что вся грудь у него была в медалях и звездах, а на плечах — майорские погоны защитного цвета. Другой офицер, такого же огромного роста, но уже пожилой, стоявший немного поотдаль, сказал:

— Не уважают русского воина.

Я боялся, что мы попали в историю. Но в это время раздалась команда:

— По машинам!

И сейчас же загудели включаемые моторы, и грузовики стали трогаться один за другим, с места набирая скорость. Свесившись с подножки одной из ближайших машин, человек в кубанке засвистел пронзительным, покрывшим все звуки свистом и махал рукой солдатам, с испуганными лицами выбегавшим из подъезда соседнего дома.

— Хабаров, давай! — кричал кто-то исступленным голосом.

Стоявшие поспешно вскакивали на ходу, и автомашины, с нарастающим ревом моторов, подымая ветер и обдавая нас перегаром бензина и солярки, с грохотом пронеслись мимо,

все быстрее и быстрее. Уже вдалеке, в последний раз, отчаянно и лихо взвизгнула гармошка. Смотри им вслед, Данилов сказал, покачивая головой:

— Нервы у всех истрепались. А ведь как награждены!..



Вызванные в штаб французские женщины были уже все в сборе. Мне показалось, что Данилов был смущен и в то же время доволен, что здесь было столько молодых и нарядных иностранных женщин, ожидавших его распоряжений и смотревших на него с весело-недоумевающим видом. Он велел мне перевести, что теперь француженки должны жить не в батальонах, а в отдельном доме, который он специально для них подыскал. Женщины стали протестовать, что их хотят разлучить с мужьями. Данилов долго упирался, ссылаясь на приказание майора, но наконец согласился:

— Ну вот, ты так скажи: если там замужние, по закону, значит, то пусть живут с мужьями. Ну, а девушки отдельно. Все вместе в одном доме. Нельзя, здесь мужчины приходиться будут, а они ведь девушки, молоденькие.

Мне пришлось задавать не деликатные вопросы:

— *Vous êtes mariée, mademoiselle?*

Легкое замешательство, гримаска карминовых губ, и, играя глазами:

— *Non, monsieur, c'est mon ami. Mais vous comprenez, on voudrait bien rester ensemble.*

Я перевожу: они, собственно, неженаты, но давно живут вместе, здесь ведь нельзя было венчаться. Данилов рассмеялся с неожиданным добродушием: —

— Так, значит, просто живут вместе? Ну, что ж, лускай живут. Там, во Франции, — разберутся. А девушек, настоящих, значит, обязательно отдельно. Ведь отца-матери здесь нету, кто за них отвечать будет?

Но затруднения еще не кончились. Была здесь одна бель-

гийская девушка. Данилов требовал, чтобы ее поселили вместе с француженками, а бельгийцы просили, чтобы ей разрешили жить при бельгийском батальоне. Девушка была высокая, черноволосая, лет 25; как почти все здесь женщины, она носила мужские брюки под платьем. Была она хорошенькая, и только неприятно сосредоточенный взгляд и странная, все время кривившая рот усмешка, ее портили. Сама она ничего не говорила, но стоявший рядом с нею высокий бельгиец с благородным воодушевлением уверял, что у нее будет отдельная комната, и что он ручается за всех товарищей. Данилов уступал с видимой неохотой.

— Ну как же это, молоденькая она еще совсем, незамужняя. Родителей нету. А здесь столько мужчин. Ну, хорошо, — согласился он наконец, — только чтобы комната у нее была отдельная и чтобы никто ее не трогал. А если кто обидит — накажу. Беспощадно накажу.

И его лицо при этих словах окаменело в свирепом выражении.

А на следующий день, часов в 12, он опять появился у нас в штабе. Сняв свою зимнюю потертую шапку и утерев пот с медно-черного от загара лица, он вынул из газеты бутылку со спиртом и сказал с довольным и торжествующим видом:

— Вот принес литр, хочу угостить французских офицеров.

Выпили за скорую победу, за дружбу французского и русского народов. Я в первый раз видел как по-настоящему пьют русские.

— Вы как хотите, смешивайте с водой, а я уж так.

И он залпом выпил стакан чистого спирта. Жадно, как если бы у него пересохло в горле, провел языком по запекшимся губам и запил маленькой рюмкой воды.

— Ты им скажи: это не от комендатуры, это младший лейтенант Данилов от себя литр ставит. Угощаю их, значит, так как я французских офицеров уважаю. Во-первых, Фран-

В. В а р ш а в с к и й

ция — наша союзница, а потом они, французы, замечательно культурные люди. Я столько раз говорил нашим: вы же понимать должны с кем имеете дело, с французами, с культурным западно-европейским народом. А то начнет какой-нибудь по матери крыть, не понимает, что это образованные люди. Можно сказать, дело прямо международного значения. А вот доктора вашего я прямо вот как уважаю. Смотри, молодой он совсем, а замечательно культурный. Ведь работал, учился, — говорил Данилов с почти любовным восхищением, глядя на нашего лейтенанта-аптекаря. — Как, говоришь, зовут его? Поль? Ага, значит, Павел, Павлушка, значит. А по отчеству? Арманович? Так вот, за здоровье Поля Армановича, за Пашу!

Данилов курил огромные «козьи ножки», аккуратно сплевывая на ковер и все подливал в стаканы.

— Ну, еще по одному! Сто граммов — ведь это ж немного.

Я отвык пить, и в голове у меня пылало как при приближении солнечного удара. Наши офицеры спрашивали через меня, когда нас будут отправлять во Францию.

— Скоро, скоро, ты скажи им. Ведь наша какая задача? Кормить, заботиться о них и отправить домой. А то, что у нас организация вроде как бы военная — пусть не боятся. Это только для внутреннего порядка, чтобы дисциплина, значит, по культурному. И во Францию отправлять легче будет. Так, прямо, по-батальонно и будем грузить, и поедете к себе домой, в Париж, к своим женам.

Как у всех русских, я расспрашивал у него о войне.

— Нет, до войны я в армии никогда не был. Сам я с Донбасса, рабочий. В гражданке в шахте работал, забойщиком. Ну, а как война началась, дошел немец до самой Москвы. Правительство все уехало, а Сталин один в Москве остался. Вызвал он нас к себе в Кремль и говорит: «Вы как хотите: хотите, уходите на Урал, в Сибирь, а я — никуда не уеду. Последним останусь. Пусть лучше меня убьют, а Москвы не оставлю. Ну, а если кто хочет — пусть остается со мной. Бу-

дем драться до последнего». И мы с ним остались. Техника до того засекречена была, а теперь стали подбрасывать и «катюши», и танки. Наставили пушек, одна рядом с другой. На каждый метр по пушке стояло. А немцы были совсем уже близко, в 20-ти километрах. Им, поди, уже Кремль был виден. Вот, думали, возьмем. Ну, а Сталин нам сказал не отдавать Москвы. И мы их сожгли.

Голос Данилова при этих словах неожиданно приобрел торжественную силу, и его глаза, блесквшие из-под косматых бровей, чудно и грозно просияли.

— Весь передний край ихней обороны сожгли огнем.

— Это что же, какая-нибудь специальная артиллерия, «катюша»? — спросил я.

— Нет, не «катюша», — сказал он неохотно. — А только мы их сожгли. Особое это оружие. Здесь в Германии мы его больше не применяли. Да, страшный был бой. Ах, отчаянно мы дрались. Веришь ли, так отчаянно, ужасно прямо. Просто представить невозможно. Ведь русский человек какой? Раз его ударят — он ничего не скажет. Второй раз ударят — опять стерпит. Ну, а уж в третий — как встанет и пойдет бить, ни врага, ни себя не жалеет. Много там наших полегло. А немцев — больше ста тысяч побили. Как пошли наши бойцы вперед, а там, где раньше немецкие боевые порядки стояли, ни одного живого немца. Только трупы обугленные лежат. А кто и копошится еще в ямах, так совсем как помешанный. Глухонемые, бормочут что-то, только через двое суток опять стали говорить и слышать.

Разговор то снова возвращался к французско-русской дружбе — «как же знаю, генерал Дехоль, он в Москве был, его сам Сталин уважает», — то опять, как бы спохватываясь, Данилов говорил, что надо поселить женщин в отдельном доме.

— Особенно девушка эта, бельгианка. Ведь молоденькая она еще, совсем как цветочек. Смотри, чтобы у меня никто ее не обижал. Такую молоденькую легко обидеть. Родителей у

нее здесь нету. Разве ж можно? Ну, а если какой-нибудь негодяй тронет — расстреляю. Собственной властью убью, — сказал он, опуская руку на кобуру револьвера.

И его лицо все сморщилось в каком то страдальческом и в то же время свирепом напряжении.

Наконец он собрался уходить, и, пожимая всем руки, благодарил за прием, видимо, ему очень понравившийся. И на прощанье все повторял:

— Вот скоро поедете к себе домой, в Париж, увидите своих жен, детей. Там тоже, поди, заждались.

— Ну, а вас, товарищ лейтенант, верно тоже скоро домой отпустят? Ведь война скоро кончится. Что, у вас большая семья, дети есть?

Он помолчал.

— Ты знаешь, ведь у нас в Донбассе немцы были. Вот кто-то и донес на мою жену, что я, значит, ушел с Красной Армией. Немцы пришли к ней допытывать. А дома у меня только жена и оставалась, да две дочки. Младшая на фельдшера училась.

Он опять помолчал, и с недоуменном тихо добавил:

— А потом сожгли их немцы. Вместе с домом и сожгли. Я сидел, опустив глаза, не находя что ему сказать.

осторожный
 шаг
 Вдоль навощеного паркета.
 Не нежность — вкрадчивость;
 не страсть,
 А ниже,
 — похоть.
 Дзынь!.. Га!
 Дзень!.. Ги!
 ...Так вероломно вдруг напасть
 И обобрать
 всю жизнь.
 З-за д-з-зеньги...
 ...В зеленых сумерках — хрусталь
 И пышная еда на блюдах...
 ...Не так ли
 заедал
 печаль
 В последний вечер свой
 Иуда?
 Пилось-ли также?..
 спалось как?..
 За тридцать кругленьких,
 за слитки!..
 ...Ишь, вызвездило змийный мрак,
 Как на рождественской открытке!..
 ...Христос!..
 Господь бесплотных сил...
 Всю жизнь я...
 До...
 ...Последней крошки!..
 ...Из мрака кто-то голосил:
 «За кра-асные!
 За пал-сапожки!..»

МЕТАМОРФОЗЫ

За окном падал снег, большими тяжелыми хлопьями, ласковый, мягкий, почти теплый — рождественский снег. В гостиной было светло и уютно; большая елка, украшенная множеством разноцветных свечей, стояла посредине комнаты, на зеленом коврикe.

Семья была в сборе. Херр Остеркинд, плотный, розовощекий, голубоглазый, сидел в резном кресле с высокой спинкой, похожем на королевский трон. Рядом с ним, в кресле поменьше, фрау Остеркинд, маленькая и полная, с гладко зачесанными волосами и добрыми глазами. Марджи была гостьей и занимала почетное кресло невдалеке от королевского трона. У елки, выстроившись по росту в ряд, стояли семь молодых Остеркиндов: старший сын Генрих, студент технологического института; Мария, в больших очках, поблескивавших под массой мелких белокурых локонов, закрывавших лоб (воплощение классического идеала секретарши); и лестница пяти светловолосых детских головок, — все девочки, все розовые и голубоглазые, с наивно восторженными лицами.

Генрих и Мария затынули, и дети подхватили рождественскую песню: «О, святая ночь!» Они пели, обернувшись к родителям: дань почтения и любви. Родители улыбались, на глазах фрау Остеркинд были слезы умиления.

Марджи наблюдала за Генрихом. Нет, положительно нет оснований беспокоиться; фрау Остеркинд, как все матери, преувеличивает. Вот он поет рождественскую песню ровным, чистым голосом, глаза его спокойны, губы чуть улыбаются. Разве таковы безумцы? — Но эти письма... Одно другого мрачней, странней; все о разрушении, о смерти; слова «мрак» и «небытие» в каждой строчке, и подпись: «Мое Ничтоже-

ство». Получив одно из таких писем, Марджи сложила чемодан и с первым поездом уехала из Берлина; она должна была узнать, что случилось с Генрихом.

Генрих встретил ее на вокзале маленького провинциального городка, где, в доме родителей он проводил рождественские каникулы. На тревожный вопрос «Что случилось?», он мрачно ответил: «Комплекс ничтожества». Марджи не поняла. Брови ее приподнялись, и две глубоких и длинных — от виска до виска — продольных складки выступили на большом круто загнутом вверх лбу. Эти складки казались неожиданностью в ее спокойном, ничем не выделявшемся лице. Складки, прорезанные удивлением перед жизнью. Что случилось? Я только что родилась и не знаю, и хочу понять.

Генрих не задавал вопроса «почему»; он все знал, и ни в чем не сомневался — все было написано в книгах. Эти книги, аккуратно сложенные в стопки, лежали на его столе: полное собрание сочинений Зигмунда Фрейда. Сложное содержание рискованного психологического эксперимента, производимого Фрейдом в тумане человеческого сознания, вылилось в уродливую форму «комплекса ничтожества» в голове Генриха: «я — низший сорт, все это знают». Что такое «высший сорт», и существует ли он вообще, он себя не спрашивал.

Марджи удивлялась. Генрих был славный малый, трудолюбивый, честный, внимательный к своим словам и поступкам. Родители и сестры считали его гениальным, друзья любили за всегдашнюю готовность помочь, начальство ценило за аккуратность и добросовестность в работе, за безукоризненную честность. Почему же вдруг «низший сорт»? Марджи пыталась убедить Генриха, что он вовсе не «ничто», а «нечто», и даже очень хорошее и во всяком случае ей дорогое, но на все ее доводы он отвечал тирадами из Фрейда, и с удовольствием погружался в созерцание своего ничтожества.

Тем не менее, возвращалась в Берлин Марджи успокоенной: если «комплекс ничтожества» и был своего рода формой временного помешательства, самоубийством он не грозил,

и напугавший фрау Остеркинд револьвер в ящике стола был просто модной игрушкой. «Это ничего, — говорила себе Марджи, — это пройдет. Он забудет своего Фрейда, когда мы повенчаемся, и тогда все будет хорошо».

Берлин весело и нарядно сиял огоньками елок. Из витрин магазинов улыбались краснощекие, белобородые, большие и маленькие, Санта Клаусы. К обычному запаху сигары и марципана, который характерен для улиц Берлина, примешивался запах елки.

На Рождество все делали друг другу подарки. «Фрейде махен» — «делать радость» — называла это фрау Шмидт, хозяйка пансиона, в котором жила Марджи. Черноглазая, с большим золотым зубом, длинным носом, и роскошным коричневым париком, всегда улыбающаяся, она походила на фею из сказок Гримма. «Фрейде махен», — говорила добрая, длинноногая фея, и для каждого у нее был готов подарок к Рождеству, дешевенький (не в пример обычным феям, она не была богата), но всегда внимательно выбранный и заботливо перевязанный красной или золотой ленточкой. Пансионеры так и прозвали ее: фрау Фрейдемахен.

У фрау Фрейдемахен был баловень внучек, четырехлетний крепыш Франц. У Франца была большая любовь: смешная мохнатая собачка с красным фланелевым язычком и бубенчиком на шее. Если надавить ей живот, она говорила «вау-вау», и язычок двигался. Иногда Франц давал Марджи подержать Пуца, что было знаком большой симпатии.

Когда Марджи вернулась в пансион фрау Фрейдемахен, она застала Франца в слезах. «Пуц... злой, злой большой», — повторял мальчик, сжимая кулачки; слезы смешно растекались по его крепким щекам. Оказалось, что Пуц погиб: утром, в тихий мирок детской площадки ворвался настоящий взрослый живой пес, схватил мирно лежавшего на куче песка Пуца, изорвал в клочья и безнаказанно скрылся. «Злой, злой большой», — повторял Франц. Как ни утешала его Марджи, обещая достать другого, он был безутешен.

Марджи не нашла нового Пуца в игрушечных магазинах. Куда то исчезли чудесные плюшевые звери, собаки, кошки, слоны и медведи, которыми славился Берлин. Не видно было и других атрибутов сказочного детского мира: волшебных замков из кубиков, разноцветных лакированных мячиков. Вместо пышногривой лошадки нагло выпячивал бронированную грудь пятнистый, похожий на жабу, танк. Аккуратными кучками, как снопы в поле, были расставлены ружья между толстыми маленькими пушками и миниатюрными — но совсем как настоящие — пулеметами. Красные и голубые вагончики игрушечных поездов окрасились в защитный цвет, на некоторых из них появился трагический знак красного креста. Аэропланы заменили хорошеньких птиц; на их серых крыльях были намалеваны свастики, и из клапана в животе выпадала деревяшка — бомба. И легионы солдатиков, оловянных, деревянных, картонных, с щетиной винтовок у плеч, застыли в витринах в игрушечном марше. Других «людей» не было, если не считать кукол, отдел которых был великолепен. Марджи пожалела, что Франц не был девочкой. Она написала на игрушечную фабрику в Нюрнберг письмо с просьбой прислать ей каталоги игрушек, в надежде найти нового подходящего Пуца. Но то, что ей прислали, гораздо более походило на каталоги оружейной фирмы.

На картинках ангельского вида мальчики, одетые в полную военную форму с нашитой на рукаве свастикой, стреляли, стреляли, стреляли. Стреляли из пушек (тут же было фотографическое изображение игрушечной пушки с указанием цены), стреляли из пулеметов и еще из каких то непонятных для Марджи орудий. Стреляли из танков, с аэропланов, с пароходов. Стреляли в зеленых лесах, точно играя в прятки между стволами деревьев, бежали в атаку по пестревшим цветами лугам; и как соблазнитель был силуэт пушки на фоне ржаного поля! Какой цветисто-яркий снап огня выбрасывало ее жерло! Это было так похоже на фейерверк. Фейерверк разбегался по золоту поля веселыми язычками пламе-

Новоселье

ни. Он пронизывал аппетитно белые облака, похожие на прожженные; из их сливочной массы выпадал горящий аэроплан, оставляя за собой черную дугу дыма. Другой аэроплан, помеченный двумя «свастиками», победно парил в воздухе, и розовый голубоглазый мальчик улыбался из кабины. Особенно красивы были фейерверки на картинках, изображавших морские битвы: из густой синевы моря вырывался в небо гигантский гейзер, попеременно с огненными мячиками; какое то судно без знака и флага гибло, перевортываясь, погружалось в пучину. Спрашивали ли себя дети, кому принадлежало юно, кто тот «неприятель», участие которого необходимо для игры в войну?

Стихия огня охватила мир детских игр; в огне погибли веселые собачки; в обгорелые развалины превратились волшебные замки фей. И фен, изгнанные из детского мира, в ужасе и гневе покинули неблагоприятную страну.

Не безумие ли овладело этой страной? Сколько флагов на улицах... Марджи оглянулась кругом, точно проснувшись. Она давно уже привыкла видеть изображение «свастики» на флагах: черный паук, вечно бегущий в кругу пламени по снежному полю. Ей захотелось домой; белый дом с колоннами среди зеленых полей Пенсильвании, где жили ее родители, показался ей потерянным раем. Там, за океаном... там, кажется, нет никаких «комплексов»...

В последнее время все реже приходили письма от Генриха. Зато тон их изменился, как показалось Марджи, к лучшему — появились бодрые нотки. Марджи радовалась тому, что казалось ей выздоровлением от болезни «комплекса ничтожества». Эпитеты «мрачный» и «безнадежный» встречались все реже, не было больше тирад о том, что «мир стремится к самоуничтожению». Слово «ничтожество» исчезло совершенно. Но исчезло и другое — теплота, какая то горячая искренность. И нигде не было слова, которое так часто повторялось прежде в его письмах, слова столь простого и желанного: «приезжай».

Главная тема писем была теперь патриотической. «Мы, немцы» — звучало гордо. Но Марджи не была немкой. На ее родине, в далекой Америке, все было иначе. Марджи вспомнила школу, деревянный белый (или все дома в Америке — белые?) дом с башенкой, похожей на церковную колокольню. Веселая молодая учительница красивыми круглыми буквами писала на классной доске: «God bless America».

Дети учились писать. Склонившись над тетрадями, все они старательно выводили буквы, копируя слова на доске: «Боже, благослови Америку». Большеглазый курчавый негр-тенок сидел рядом с Марджи; на уроках арифметики он всегда помогал ей: Марджи не любила считать. В этой школьной комнате были дети англичан, немцев, евреев, испанцев, французов, поляков, русских, — потомки тех людей, которые все вместе создавали Соединенные Штаты — «The Land of the Free». Потому, когда говорили «мы, американцы», — это гордое «мы» звучало совсем иначе чем «мы, немцы» в письмах Генриха. И почему Генрих так гордится тем, что родился в Вестфалии, по эту сторону Рейна? Когда Марджи в одном из писем Генриху задала этот вопрос, последовал быстрый и неожиданный ответ: «Но разве не знает она, что немцы — высшая раса?» И письма прекратились.

Опять Марджи не могла понять, что случилось. Усталость, психологическое «невозмогу» — овладело ею! Что с ней? Она, кажется, несчастна. Она этого не хочет. Что можно сделать? Уехать, отделить себя океаном от чувства унылой безнадежности, завладевающего ее жизнью.

В американском посольстве, где работала Марджи, удивились, но снабдили ее всем, что требовалось для путешествия. И штемпель на паспорте показался ей печатью, за которой осталось навсегда ее прошлое.



На столе Генриха лежал «Майн кампф». Там все было

сказано. Думать не требовалось, достаточно было слушаться. Как удобно, как хорошо было знать, что фюрер, Богоданный вождь избранного народа, все продумал. Фюрер знает все. Фюрер сказал: «Немецкий народ — соль земли, высший сорт!»

Бедная Марджи! Конечно, она не могла понять этого — для этого надо быть немкой. «Майн Кампф», который он послал ей в подарок на Пасху, она читать не стала дальше первых глав и написала смешное письмо: «Почему люди по эту сторону Рейна или Одера лучше, чем по другую?» И еще: «Зачем ваш фюрер бранит соседей — это плохая политика, и ничего путного из этого не выйдет». У них в Америке все помешаны на «политике доброго соседства».

Хорошо, что они не поженились. Она никогда не могла его понять. Правда, теперь он и сам не понимает, как мог он воображать себя ничтожеством, бояться ответственности, считать себя недостойным. Разве может быть недостойным, разве может быть ничтожеством — немец?

Все же жаль, что Марджи уехала. Он к ней привык, он ее даже любит, пожалуй. Но все это — личные мелочи. Немец должен думать серьезно только о своей великой родине.

Прощание было кратким. Поезд, увозивший Марджи на запад, стоял в Нюрнберге, где жил и работал теперь Генрих, около часу — как раз достаточно времени, чтобы успеть позавтракать в ресторане вокзала, переполненном разношерстными путешественниками. Витражи окон ресторана изображали деревенские сцены: крепкие женщины в пышных юбках жали рожь, доили коров; краснощекие дети, как большие птицы, пестрели в ветвях яблони; веселые бюргеры за дубовыми столами поднимали причудливо разукрашенные кружки пива. В мягком рассеянном свете, лившемся сквозь витражи, лицо Марджи показалось Генриху свежее и моложе; белый воротничек платья придавал ей вид школьницы. Она смеялась, разговор шел о пустяках, и все казалось таким спокойно привычным, что трудно было помнить — а он старался не забыть

— что это и есть то «прощание», которого он страшился, как страшатся всякой предельной черты: пропасти, пустыни, обморока. Зато навсегда запомнился ему вкус и вид толстой свиной котлеты, которую с горкой кислой капусты подали в ресторане; он жевал ее добросовестно, сосредоточенно — так делал он всякую работу — и это действовало на него успокаивающе: ведь, жевать надо было во всяком случае.

Когда подали в белых чашках кофе, вошел станционный служащий и объявил о скором отходе поезда. Через несколько минут на перроне вокзала они торопливо простились. Марджи сказала с улыбкой привычное «до свиданья». Как много раз уезжала она так — с тем чтобы приехать снова. Как странно, что на этот раз все было иначе. В голове Генриха шевельнулся неожиданно тревожный вопрос: «Что случилось?», и вдруг он потерялся в темной яме недоумения. Лишь на мгновение. Поезд двинулся, рука Марджи без перчатки махала из окна; через секунду пространство поглотило ее. На чем остановилась жизнь? Ах да, чашка кофе!

За столиком ресторана Генрих снова пил зеленоватое, дымящееся кофе. После отхода поезда на вокзале стало тихо, лишь с улицы доносился звук тяжелых, размеренных шагов; точно шли войска. Но молодые люди в коричневых рубашках, которые двигались темными четырехугольниками по средневековым улицам Нюрнберга, не походили на солдат: в них не было ничего «регулярного», делового. Иногда они выбрасывали руки с криком «хайль!». Из окон домов свешивались на улицу длинные холстины флагов с изображением черного паука, бегущего по огненному кругу. Когда ветер колыхал флаги, пауки шевелились, вереницы их бежали по городу, от дома к дому. Они опутали паутиной черного, белого и красного кружевные фасады домов и соборов. Нюрнберг, город чистой готики, весь в нежных нюансах серебристо серого и золотисто розового, исчез за вывесками холстины. Над массой колыхавшихся флагов темной громадой высился бург. В его подземельях туристам показывали утонченные орудия пы-

ток, любопытные сувениры прошлого. Над коллекцией безобразных деревянных и металлических предметов царила Железная Дева. Она была громадна, стройна и красива. Тяжелый железный плащ окутывал ее с головы до ног. От легкого прикосновения умелой руки плащ распахивался, и раскрывалась утроба Железной Девы: длинные стальные зубы усеивали стены внутренней комнаты, где было отмерено место для одного человеческого тела. Когда снова сходились половинки плаща, железные зубы медленно пронзали жертву...

По улице у подножия бурга двигалась удивительная процессия. Люди в коричневых рубашках маршировали, высоко вскидывая ноги, глядя вперед в одну точку. За ними шли мальчики в несколько групп по росту — от велика до мала, с каким то не то игрушечным, не то настоящим оружием в руках; иногда они выбрасывали вперед руки с криком «хайль». Женщины с детьми на руках или с детскими колясками и старики и старухи с корзинками и мешками с провизией маршировали тоже, бессознательно повторяя ритм передних рядов. Позади процессии ехал автомобиль, в нем сидел дюжий детина с нашитой на рукаве свастикой. Это жители Нюрнберга отправлялись на «лоно природы»: было воскресенье. Генрих допил свое кофе, застегнул на все пуговицы старенькое, еще студенческое пальто и вышел на улицу. Весенний ветер, полоскавший в небе флаги, сорвал с него шляпу, и она понеслась по улице, догоняя процессию. Генрих бросился за шляпой, добежал, схватил. Теперь он был в рядах, толпа приняла его в себя. Надев шляпу, он присоединился к идущим, подчиняясь общему ритму, бессознательно пружиня и вскидывая ноги.

Над башнями бурга, на фоне гонимых ветром тяжелых синих облаков развевался флаг со свастикой.

В Берлине в это воскресенье, как и во все другие воскресенья, жители тоже отправлялись церемониальным маршем на лоно природы. В одном из задних рядов шагал маленький Франц. На нем была форменная одежда, похожая на скаут-

скую, но без веселого галстука и без ковбойской шляпы, украшенной значками с изображениями животных. Он упорно и сосредоточенно старался вскидывать ногами, попадая в шаг. Детски пухлое лицо его от напряжения казалось плоским, похожим на маску. Момент был важный. По воскресеньям детям было позволено принимать участие в играх взрослых. Франц знал, что игры эти — самое важное; так учили в школе. Учитель сказал, что так велел фюрер. Фюрер знает все; он всегда улыбается на большом портрете, который висит позади учительской кафедры. Фюрер добрый, но его надо слушаться, чтобы не рассердить, иначе все будут насмехаться. Все знают, что фюрер все видит. Надо слушаться учителя — так сказал фюрер. По воскресеньям под руководством учителя дети играли в игры взрослых. Это было так интересно. Сначала в прятки в роще над озером, где толстые деревья, за которыми не видно «врага»; прятались в оврагах и ямах; залегши в канаве, по команде старшего выскакивали и перебегали дорогу, с игрушечными ружьями наперевес. Редкие автомобили, иногда вырывавшиеся из-за дальнего поворота дороги, придавали игре острый вкус опасности: это был враг.

Дети учились быстро и ловко взбираться по дереву или шесту до самой верхушки; тот, кто был быстрее и ловче других, имел право укрепить наверху флаг со свастикой; тогда снизу доносилось громкое разноголосое «хайль!», и можно было чувствовать себя героев. «Хайль» — это была другая игра: как на уроке пения, учились кричать все сразу и в тон.

Больше всего любил Франц час завтрака. Растянуться на зеленой траве в солнечный день было так приятно; бутерброды с ливерной колбасой и искусственным медом, которые давала ему с собой фрау Фрейдемахен, казались тогда особенно вкусными. Фрау Фрейдемахен не принимала участия в воскресных играх на лоне природы. Ее удерживали дома сложные обязанности хозяйки пансиона, заботы о сытости пансионеров и чистоте обстановки. Борьба за чистоту и по-

рядок была непрестанна. И откуда столько пыли в Берлине? Один из пансионеров, русский, опрокинувший склянку чернил на ее любимый красный ковер в гостиной, утверждал, что это — закон природы: «Мир стремится стать грязным», — и добавлял ядовито: «Впрочем, почему мы так боимся пыли, ведь мы сами — пыль», Фрау Фрейдемахен не обижалась, и наперекор всему приступала к чистке.

Но в последнее время фрау Фрейдемахен чувствовала себя потерянной в новом, вдруг ставшем непонятным мире. Уже давно начались перемены, с того дня, когда по совету пансионеров она сняла со стены портрет кайзера, перешедший к ней от матери и занимавший почетное место на стене в гостиной. С чувством душевной тревоги, виновато она поставила его в дальний угол чулана, бережно укутав газетами. Место кайзера занял маршал Гинденбург. На нем был ослепительный шлем с башенкой, заканчивавшейся маленькой пикой, и плащ с блестящими бляхами; роскошные, как два серебряных полумесяца, усы, пышные седые брови, ордена и ленты — все внушало почтение. Фрау Фрайдемахен скоро привыкла к портрету. Но вот пришлось убрать и Гинденбурга; его портрет в тяжелой золотой раме покоился теперь рядом с кайзером в скромном мавзолее чулана. Со стены гостиной смотрел серыми холодными глазами чужой, совсем незнакомый человек. Черная прядь волос над левым глазом, черные усы пирожком; вместо блестящего мундира — темная тужурка с нашитой на рукаве свастикой. Никакой торжественности! Говорят, он австриец. Франц называет его «фюрер».

Франц был доволен. В его комнате тоже висит портрет фюрера, только тот улыбается, и внизу выгравирована надпись: «Немецким детям». Фюрер написал книгу, которую все читают. Франц недавно принес эту книгу, сказал: «Учитель велел передать — там все объяснено и сказано — «Майн кампф». Фрау Фрейдемахен книгу еще не прочла и вспоминающая об этом, чувствовала себя виноватой.

Как Франц изменился! Он стал взрослым. Приходит поз-

дно, в школе теперь после занятий — гимнастические упражнения. Ничего не рассказывает, точно чужой. Фрау Фрейдемахен не знает больше, чем его обрадовать. Ни книжки с картинками, ни пирожные, которые он так любил, ни даже цирк его больше не интересуют. Но сегодня у нее есть для него сюрприз. Сегодня утром почтальон, который говорит ей теперь «хайль» вместо «с добрым утром, милостивая госпожа», — принес пакет из Америки. Не радость ли это? Руки ее дрожали от нетерпения. И когда из облака розовой шелковой бумаги выглянула на свет божий мохнатая голова игрушечной собачки, она чуть не заплакала: ведь это был Пуц! Тот Пуц, которого так любил маленький Франц, с которым он спал, обняв его пухлой ручкой. Как плакал Франц, когда Пуц погиб в зубах полицейского пса! И вот теперь прибыл из Америки его двойник. И на ошейнике бумажка с надписью: «От Марджи».

Фрау Фрейдемахен вспомнила веселую американку, говорившую громко, ходившую размашистой походкой. Два года прошло с тех пор, как она уехала домой, и как только она помнит Пуца? Милая девушка, недаром фрау Фрейдемахен всегда чувствовала к ней симпатию. Фрау Фрейдемахен бережно поставила Пуца на полку в комнате Франца. Смутные образы прошлого, забытые детские песенки всплывали в ее памяти. Когда то Франц безмятежно засыпал в своей детской кроватке под напев колыбельной. Скоро он станет большой и ее покинет. Как птенец из гнезда, вылетит в большой неизвестный мир, полный опасностей — искать свое счастье. Дай Бог, чтобы он нашел его!

Какой то полузабытый мотив не выходил у нее из головы. Что это за песня? Наконец она вспомнила:

Лети, лети, майский жук!
Лети высоко, лети далеко.
Твой отец на войне,
Твоя мать в Померании.

А Померания вся выгорела!
Лети, лети, майский жук!

Весь день эта песенка преследовала фрау Фрейдемахен. Какая странная в сущности песенка... Кто придумал такую колыбельную? Вечером пришел Франц. Он опоздал — в школе опять были гимнастические упражнения после уроков. Человек в коричневой рубашке перемежал гимнастику с чтением подходящих мест из книги фюрера. Фюрер обещал детям «завтра — весь мир». Как хотелось им вырасти поскорее в это «завтра»!

Франц устал и был голоден. Он почти не обратил внимания на Пуца; потрогал, спросил «откуда», и равнодушно поставил на место. Америка! «Гнилая демократия!» Они делают игрушки. Мы, немецкие дети, предпочитаем пулеметы.

В столовой, вместо обычного «Гутенабенд», Франц выбросил вперед руку и смешным детским голосом крикнул приветствие, которому уэили его в школе: «Хайль!». «Хайль!» — серьезно ответили пенсионеры. Вдруг что то вспомнив, Франц деловито обратился к фрау Фрейдемахен: «Учитель сказал, чтобы по воскресеньям взрослые сопровождали нас на учење; завтра воскресенье, не забудь!»

Как то странно вдруг оробев, засуетилась фрау Фрейдемахен у буфета, уставленного бутербродами. На лице ее было растерянное, виноватое выражение. Она так хотела сделать приятное Францу. Кроме этого мальчика у нее не было близких. Муж ее умер. Единственная дочь, рано овдовев, вела кочевую жизнь кабаретной актрисы, меняя мужей, песни и страны; о Франце она не заботилась, поручив его целиком попечению бабушки. Франц был смыслом существования фрау Фрейдемахен, радовать его — было лучшей ее радостью. Как доставить ему удовольствие в этом странно-изменившемся мире? И что это за мир? Кто скажет ей, кто научит? Вдруг она вспомнила книгу, которую принес Франц. Учитель велел передать: там все объяснено и сказано. Учитель сказал, чтобы

взрослые сопровождали детей на учебу по воскресеньям. Завтра воскресенье. Фрау Фрейдемахен перестала думать. Методически приготовила она еще порцию бутербродов, уложила в корзинку.

Утром она присоединилась вместе с Францем к длинной процессии маршировавших; в ее корзинке среди бутербродов, на месте обычного вязанья, лежала аккуратно завернутая книга: «Майн кампф».



Пансион фрау Шмидт был пуст. Все было на местах, все было сделано. В комнате Франца веселая кудрявая собачка, напрасно переплывшая океан, одиноко стояла на полке: никому ненужный иностранец без языка и паспорта. Кругом нее, в этой недетской комнате ребенка была блестящая пустота навошенных полок с немногими книгами и тетрадями. В углу стоял флаг со свастикой. С портрета на стене смотрел фюрер. Было что то угрожающее в улыбке тонких губ под черным квадратом усов. Если бы Пуц был живым, он наверное разразился бы испуганным лаем.

П. СТАВРОВ

ПРОЩАНИЕ

Если, словно в пустом ожидании,
Беспредельнее небо (знаешь заранее),
Сиротливей и каменной здания,
Это значит — прощание...

ВОКЗАЛ

Вознесенный фасадом особенно гол,
Четко шаркают ноги о каменный пол,
Суета, но не та,
Не такая, как те,
Не такая, как следует быть суете.

На часы и минуты разграфленная мука,
Можешь дни тасовать, как картежную скуку,
Можешь сердце по сходной продать
И во след платочком махать...

Только там, в затемненном вагоне,
Бьется тот же ответ монотонный,
Без стенаний, без слез, без досады
Механически — мертвой цикадой,
И болтается — куклой во сне —
Чей то вымокший плащ на стене.



Все ровнее, быстрее и нежней,
Все прилежней колеса стучали.
В голубом замираньи полей
Запах дыма и скрежет стали.

В серебро уходящая мгла,
Лошадей и людей вереницы,
Брызги влаги на взмахе крыла,
Хриплый окрик разбуженной птицы.

Эта белая даль — не снежна,
Эти тени дорог — не бескрайны,
Оттого эта тайна нежна,
Что осталась, как тени, случайной.

Только музыка все слышней,
Только небо светлее и ближе
В голубом замираньи полей,
На разъезде путей, под Парижем.

ЕЛЕНА АНТОНОВА



Почему родилась я не в таборе,
Не цыганкой с глазами, как смоль, —
Не швырнула-б судьба меня за море,
Чтоб познать мне земную юдоль.

По дорогам родным бы бродила я,
Или даже совсем без дорог,
Улыбалась бы степь мне унылая,
Ветер холил, и месяц стерег.

Я плечами играя, плясала бы,
Пели струны, мониста, гармонь,
И бросала-б души своей жалобы
Я в костры, в бесшабашный огонь.

Песню слушала-б неугомонную,
Что поет под кибиткою ось...
Мне с душою, привольем плененною,
Кочевать на чужбине пришлось.

М. М. ПРИШВИН

1873 г.

«Я счастлив, что живу с вами на одной планете!» Это обращение Горького к Пришвину при первой встрече. В этих немудрёных словах перелив чувства и кипь растроганного сердца, сказавшаяся в несуразной астрономической «планете». А как не восчувствовать и не полюбить Пришвина и всякому, для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, ямки, овражки, логи, кочки, хохолки — вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово — гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним его слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю.

Но пространства России не Москвой сошлись: на север она за полюс, где в зимнюю бесконечную ночь костры зажигают там, за облаками, и небо полыхает в переливных, осыпающихся на землю огнях; на юг она за белоснежный Эльбрус с памятью Арарата и проклятого жадными богами огненного Прометея; на восток она через верблюжьки киргизские степи со звездами-птицами до серебряного волшебного Алтая, и по Китайской стене вдоль Сибири до Великого океана, царства оленей, рек — как моря, и чародейского шаманского бубна.

И на всех этих пространствах — на тысячи тысяч верст — ступила нога русского — и уже он не Пришвин, русский, а «Черный Араб», загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратится в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.

И то, что глаза его увидят — глаза его зорко-птичьи, и то, что тронет его сердце, открытое ко всему живому божьему миру, он, одаренный слухом к свисту птиц, дыханию трав и

Новоселье

мурму зверей, передаст в своих рассказах русским словом, памятным на тысячи тысяч верст.

«Я счастлив, что встретился с вами, скажу я, и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом».

В литературе Пришвин выступил в 1907 г.: его первые книги — географически-учебного характера — очерки: «В стране непуганных птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908). Но как писатель, Пришвин начинается с рассказа «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 г. А вскоре после встречи с Горьким издание «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913-1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей.

Пришвин идет не из-пуста, он продолжает традиции русской литературы. По тишине и растворению благодати, Пришвин подхватывает голос **С. Т. Аксакова** (1791-1859) с его разливной в мире трепещущей жизнью, где не найдете ни косога взгляда, ни злого зуба, а есть только заботливая теплая любовь. По словарю Пришвин продолжает **Е. Дриянского**, автора «Записок мелкотравчатого» (1857), первого в русской литературе по богатству языка, а тема Дриянского общая с Пришвиным: земля, небо, звери и птицы. В своих очерках странника Пришвин ученик **В. Г. Короленко** (1853-1921), то же внимание, бережность и чистота. А в своей памяти о первых годах жизни Пришвин идет с **Гариньим-Михайловским** (1852-1906), автором «Детства Тёмы». А то, что назовут пришвинским — это его мир зверей: его олени, гуси, собаки, перепела, ёжик, — тут Пришвин продолжает **Решетникова** (1841-1871), открывшего человекообразных, Пилу и Сысойку, стоящих на грани «безгрешных» зверей. Решетников подслушал слово в бессловесном человеке, а Пришвин расслышал голос немого зверя.

Когда-то елецкий «черный араб», а теперь, как лунь, бо-

А л е к с е й Р е м и з о в

родатый, белый медведчик и волхв — Михайло Михайлович Пришвин. А над ним серебряные тихие русские звезды.

Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть божий мир с цветами и звездами, и что не даром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире простота, детскость и доверчивость — жив «человек».

1945
Париж

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ

В середине декабря наша группа «сопротивления» получила от штаба ФФИ задание подыскать в районе Сен-Дени пригодные для сброски парашютов уединенные и вместе с тем расположенные не слишком далеко от деревни укромные поляны. Задание почти невыполнимое — остров Олерон, плоский как тарелка, особенно в северной своей части, почти совсем лишен лесов и рощ. Большинство полей — длинные полосы виноградников, стебли которых, прибитые к земле широкими океанскими ветрами, не представляют собою никакого укрытия. По краям виноградники обсажены кустами ивняка — тогда, в декабре, листья были уже сорваны непогодой, и на фоне ржаво-зеленых полей поднимались, как бездымное пламя костров, гибкие оранжевые лозы.

Целый день, вместе с комендантом Патуазо, сравнительно недавно вошедшим в нашу группу, мы бродили вокруг Сен-Дени в тщетных поисках удобного поля. Комендант ворчал: скептик и чужак, он заранее был уверен, что мы все равно ничего не найдем. За спинами у нас болтались большие ивовые корзины, с которыми олеронцы никогда не расстаются — они ходят с ними даже в церковь. Мы делали вид, что собираем грибы — на Олероне грибы не переводятся до самого Рождества. Наконец, когда я начал склоняться к мнению Патуазо, что парашютировать в таких условиях — все равно, что сбросить драгоценный груз прямо в немецкую батарею, мы набрали на небольшую, закрытую со всех сторон высокими кустами тамаринда уединенную полянку. Полянка была мала, и риск промахнуться оставался очень велик. Но все же это было лучше чем открытое поле. Вдобавок, с юга, со стороны немецкой батареи, полянка была прикрыта невысоким ясеневым леском, как будто подстриженным океанскими ветрами.

Мы вернулись уже в сумерки. Стаи черного воронья кружились над обнаженными полями. Из-за дюн все упрямее разворачивался грохот большого прилива. Вечером мы составили рапорт, а на рассвете следующего дня я был арестован.

Мне снилось, что я заколачиваю гвозди, прибывая деревянную подметку к резиновым сапогам, и в течение нескольких секунд я не мог понять, где кончается стук моего сна и где начинается грохот ружейного приклада в запертые ставни. Я открыл окно. Декабрьский туман и холод ворвались в комнату. Во мраке, внизу я различил несколько черно-серых солдатских фигур. Уже догадываясь в чем дело, я все же спросил по-французски кто там и что надо. В ответ начальственный голос, путая немецкие и французские слова потребовал, чтобы я немедленно отворил дверь. Я перешел на немецкий язык. Невидимый мой собеседник путанно объяснил мне, что я вызван в Сен-Пьер, в главную комендатуру острова. Он сказал, что я должен собраться немедленно, взяв с собой еды на два дня. Я попросил четверть часа на сборы и закрыл окно. Жена зажгла маленький светильник, сооруженный из стеклянной банки, куда наливалось вытопленное нами сало дельфина. На скошенном потолке мансардной комнаты задвигались наши нелепые тени. Прибежала моя дочь, легко переступая босыми ногами по холодным доскам пола. Она легла в постель. Мы почти не разговаривали. Разбуженный шумом, движением и светом, заворочался в своей кровати сын. Я нагнулся к нему — поцеловать. В полумраке блеснули его удивленные, широко открытые глаза.

— Ты скоро вернешься?

— Скоро.

А сам я подумал о том, что я надеюсь на его память, и что он никогда не забудет своего пробуждения на рассвете 15 декабря 1944 года.

В то утро в Сен-Дени было арестовано пять человек. Трое — мой соотечественник А. А. Ранета, Жак Фуко и я, — принадлежали к местной группе «сопротивления». Двое других — директор школы Гийонэ и секретарь мэрии Дюпэ, — были взяты в качестве заложников. Когда нас вели в батарею «Трех камней», находившуюся километрах в двух от Сен-Дени на северо-западном диком берегу острова, я стараясь угадать причину нашего ареста. С первых же минут у меня создалось впечатление, что арест произведен втемную, что толком немецкому штабу ничего о деятельности нашей группы не известно, и что немцы преследуют двойную цель: набрать заложников и утратить население.

Впоследствии, при допросах, предположение мое перешло в уверенность, так как никому из нас не было предъявлено

серьезно обоснованного обвинения. Некоторые, в том числе и я, были арестованы по доносам местных милиционеров (французских агентов гестапо), которые догадывались о существовании «сопротивления», но не имели никаких конкретных данных о нашей деятельности. Между прочим, я должен отметить, что при аресте немецкие тюремщики вели себя сравнительно «корректно» (как я ненавижу это слово, самое гнусное из всего отвратительного лексикона французского сотрудничества!). Впрочем, немецкая корректность имела и другое объяснение: остров Олерон является частью знаменитой «Атлантической стены», и в декабре месяце остров накрепко был отрезан от регулярной немецкой армии. Солдаты понимали, что они уже наполовину пленные и из чувства самосохранения избегали проявления излишнего самодурства. Вдобавок, после нескольких расстрелов, произведенных в Ля-Рошели, они получили столь внушительное предупреждение от ФФИ, что расстрелы прекратились совершенно, заменившись «моральными воздействиями», правда, достаточно неприятными.

В батарее «Трех камней» нас встретил лейтенант Кранц. Маленький, розовый, белобрысый, он мне напомнил лейтенанта Фифи, героя мопассановского рассказа. Кранц встретил нас с приторной любезностью, поспешно сообщив, что в нашем аресте он не виноват (впоследствии я узнал, что он являлся начальником гестапо в северной части острова Олерона), но что для немецкого солдата долг превыше всего и что поэтому он беспрекословно выполняет приказ высшего начальства.

— Тем более, что арест ваш, — добавил лейтенант Кранц, нежно улыбаясь, — дело временное: не пройдет и двух недель, как мы снова соединимся с частями регулярной армии и тогда, конечно, вам будет вновь предоставлена свобода.

Немецкая армия в декабре 1944 года находилась в Бельгии и в Эльзасе.

Часов в восемь утра нас посадили на грузовик и отправили под охраной в «неизвестном направлении».

По дороге мы объехали несколько соседних деревень, подбирая отдельные группы арестованных, среди которых иногда я узнавал товарищей по подпольной работе. Было холодно, дул резкий северо-западный ветер, с исступлением подгонявший низкие рваные облака. Конвоиры наши в раз-

говор не вступали, и мы так и не могли узнать куда нас везут. Наконец, грузовик свернул на шоссеиную дорогу, ведущую в Боярдивиль. Арестованные забеспокоились: как бы нас не отправили в Ля-Рошель — пока мы на острове, все обойдется, в Ля-Рошели же недолго и умереть с голоду. Но не останавливаясь грузовик пересек Боярдивиль и свернул на маленькую проселочную дорогу. Мы вздохнули с облегчением: нас везли в «Счастливый дом», бывший до войны детской колонией и теперь превращенный в лагерь для политических преступников. Это было все-таки лучше чем знаменитый дом для умалишенных в Ля-Рошели или каторжная тюрьма на острове Рэ. Минував двойные проволочные ограждения и пикеты часовых, мы въехали на широкий мощный двор. Спустив с грузовика, нас выстроили в ряды и часа полтора продержали на холоде. Проморозив как следует, нас наконец ввели в огромное совершенно пустое помещение, стены которого были украшены стилизованными рисунками для детей: мальчик с пальчик, Белоснежка, а в том углу, где я устроился, прямо над моей головой раскрыла крылья огромная черная птица, нападавшая на маленького человека в розовом тюрбане. Сквозь заиндевевшие от мороза окна проступали силуэты пирамидальных тополей. Холод в отведенном нам помещении стоял лютый. Вскоре начали прибывать грузовики, собиравшие арестованных в других частях острова. К вечеру комната была переполнена: нас собралось более ста человек.

Первые дни мы жили без света, но впоследствии нам включили электричество — по требованию часовых, боявшихся нас охранять в темноте. В уборную — обыкновенная яма, вырытая в дюнах, — можно было ходить только в сопровождении стражи, группами и только днем. С 4 часов дня и до утра мы могли пользоваться маленькой детской уборной, конечно испорченной — весь пол был покрыт слоем подмерзшей мочи, сантиметров в десять. Кормили нас следующим образом: утром горячая вода, почему то называвшаяся чаем, в обед — тарелка овощного супа и вечером тот же суп, но уже без овощей. Однако, я давно так сытно не едал как в «Счастливом доме»: французский Красный Крест взял наше пропитание в свои руки, и мы получали почти ежедневно продовольственные посылки — олеронские крестьяне, похожие в этом отношении на крестьян всего мира, расстававшиеся с большим трудом с припасами, припрятанными в глубине бесконечных сараев и чердаков, на этот раз, на зло немецким

окупационным войскам, оказались удивительно щедрыми, и мы почти каждый день ели кур, индеек, и замечательнейшее, домашней засолки свиное сало. Через некоторое время крестьяне за эту свою щедрость горько поплатились: начались поголовные реквизиции, и у крестьян отбиралось все, вплоть до семенной картошки. Свидания с родными были через три дня запрещены. Запрещена была и переписка, кроме официальной (за то время, пока я был арестован, я написал домой 6 открыток, из которых только одна дошла по адресу). Но и здесь нам удалось без труда обмануть немцев, и контрабандой я посылал и получал в среднем три письма в неделю.

На другой день после того, как были прекращены свидания с родными, мне все же удалось поговорить в течение двух с половиной минут с моей дочерью. Случайно я увидел в окно, как она уходила со двора, понурившись и волоча за собой велосипед, к которому была привязана неприятая для передачи посылка (посылки можно было передавать только через Красный Крест). Я подошел к часовому и решительно заявив, что меня вызвал к себе комендант лагеря, лейтенант Браун, беспрепятственно вышел во двор, догнал мою дочь, и пока я отвязывал посылку, она успела сообщить мне последние новости: основная группа «сопротивления» в Сен-Дени не тронута арестами; в Ля-Брэ, соседней деревушке, вообще никто из товарищей не арестован; получены самые обнадеживающие сведения из штаба капитана Леклера и что если будет назначен день высадки на острове — мне обязательно и своевременно дадут знать. Ко мне подошел лейтенант Браун, но смущенный вероятно молодостью моей дочери — ей было тогда 14 лет, — весьма вежливо напомнил, что свидания запрещены. Пришлось попрощаться. Однако, дочка, несколько не смущаясь присутствием коменданта продолжала — и успела — по-русски досказать мне последние новости: сводку московского Информбюро, которую удалось поймать в Сен-Дени, и — самое главное — успокоительные сведения о наших советских партизанах на острове, действия которых так и остались полнью тайной для немецких частей.

Понемногу наша тюремная жизнь начала приобретать будничность — потянулись огромные дни, которые нечем было заполнить. Нарядами немцы нас не слишком утруждали. Прогулки, первое время вообще запрещенные, были разрешены, но бессмысленная толчея на узком прямоугольнике двора, окруженном колючей проволокой, надоеда-

ла через несколько минут, а вид бесконечного количества часовых, расставленных во всех закоулках, раздражал неизменно. Впрочем, от часовых мы не могли избавиться и у себя в комнате: и днем и ночью у дверей дежурили двое эсесовцев, выбранные с умыслом из самых молодых и самых отчаянных. Один из них, с которым у меня случилось несколько неприятных столкновений (после того, как А. А. Ранета был освобожден, мне, несмотря на глубокое мое отвращение, пришлось исполнять роль официального переводчика), был тяжело ранен при освобождении острова, в конце апреля 1945 года. Хрипя и харкая кровью, он попросил его прикончить:

— Я все равно не могу жить без моего фюрера.

Его же, с маленьким вздернутым носиком и тоненькими ниточкой, черными усиками, я ежедневно наблюдал в окно: к вечеру он взбирался на невысокий хребет серо-желтой дюны и любовался заходом солнца. Налюбовавшись, он возвращался к нам в комнату и неизменно устраивал скандал: придирался к какому-нибудь пустяку и визжал высоким и пронзительным голосом, ругая французов, которые никак не могут понять, что они проиграли войну и смеют сопротивляться немцам. Иногда дело доходило до рукоприкладства, причем объектом избияния бывал все тот же Дангели, маленький, рыжий француз, регулярно напивавшийся каждый вечер и вызывавший этим обстоятельством зависть немецких солдат.

Поначалу мы были разделены по группам, сообразуясь с географическими признаками; представитель каждой деревни получал пищу на всех своих односельчан, присутствовал при сортировке и просмотре посылок и т. д... Но вскоре образовались группы уже по внутреннему признаку: была большая группа — «болото» — те, кого немцы арестовали в качестве заложников; в большинстве это были крестьяне, многие из них даже торговали с немцами и неплохо на этой торговле нажились, никакой политикой они не занимались и причина их ареста оставалась для них совершенно необъяснимой — во французскую голову никак не укладывалась мысль, что можно арестовать просто так, ни за что. Впоследствии, при освобождении острова, среди них нашлось немало добровольно присоединившихся к ФФИ — немцы по обыкновению добились своего: даже равнодушных они научили ненависти. «Болото» мечтало только об одном — как можно скорее вернуться к себе домой и начать обработку земли; время шло,

поля оставались невспаханными, виноградники — неподстриженными, и вино непроданным. Были среди арестованных и «мушары» — насадки, посаженные для внутреннего шпионажа. Их быстро вывели на чистую воду, остерегались при них говорить о политике, и они никому особенного вреда не смогли принести. Кроме того, образовалась группа тех, кто работал в «сопротивлении». Нас было совсем немного — человек 20 на 240 — максимальная цифра заключенных в «Счастливом доме». Эта цифра значительно уменьшилась — многие, особенно из числа заложников, были освобождены после недели-другой сидения за проволокой. Среди нашей группы установились совершенно необыкновенные товарищеские отношения: общая опасность, которой мы подвергались, общая ненависть, которой мы были полны, общая, ни на минуту не поколебавшаяся уверенность в нашей победе — все это так нас сблизило, как не могли сблизить годы мирной жизни. Один из нашей группы, радист Тюфери, лучший специалист по починке радио-аппаратов на острове, часто вызывался немецкими военными властями для всевозможных исправлений. Он, конечно, ухитрялся наряду с официальной передачей слушать и Лондон, и даже Москву — таким образом, мы почти каждый вечер имели точные сведения со всех военных фронтов.

Накануне Нового года, 31 декабря 1944 г., главный наш тюремщик, глава гестапо на острове Олероне, военный врач Шеффер, подверг нас испытанию.

Был серый, очень холодный день, с дождем и снегом. Не дав нам времени взять верхнюю одежду, нас выстроили во дворе и проморозили так довольно долго — немцы давно усвоили, что человека больше всего деморализует долгое и бессмысленное ожидание. Свистел тяжелый океанский ветер. Ряды стояли безмолвно, и только иногда раздавался отчаянный кашель, разрывающий грудь — почти все мы были простужены. Наконец появился Шеффер, окруженный своим штабом: три офицера, 5-6 фельдфебелей и целый взвод эсесовцев с автоматами и ручными пулеметами.

Шеффер медленно приблизился к нам, вполголоса сделал несколько замечаний почтительному адъютанту и не глядяывая в бумажку произнес по-французски короткую, но весьма внушительную речь.

Говорил он, правда, с довольно сильным акцентом, но построение фраз и способ их выражения были почти безу-

коризнены.

Прежде всего он объяснил нам, что в большинстве мы арестованы не за то, что мы сделали, а за то, что могли бы сделать. Далее он заметил, что от настоящей «коллаборации» он ожидал большего, и что критику немецких властей, которую осмелились делать некоторые из арестованных, он допустить не может и не хочет. Затем наступила пауза. Голое белобрывое лицо Шеффера искривилось иронической усмешкой:

— Да, — произнес он отчетливо и резко, — вы думали, что война скоро окончится победой американцев и русских. Вы очень ошиблись — вот уже несколько дней, как инициатива перешла в наши руки, и немецкие войска вновь наступают в Бельгии и на севере Франции. Часть из вас будет выслана с острова, другая часть — интернирована в каторжной тюрьме на острове Рэ. Те, которые будут интернированы, должны приготовиться к долговому сидению. Их арест может продолжаться месяцы, а может быть и годы, ибо — снова пауза, и уже с нескрываемой насмешкой, — для того, чтобы вас освободить, французам нужно то, чего у них нет: самолеты, орудия и, главное — смелость!

При слове «смелость» я услышал, как легкий вздох прошел по рядам арестованных. Это была явная провокация — Шеффер искал предлога, чтобы пустить в ход автоматы своей охраны. По щекам моего соседа, старого героя Вердена, безрукого инвалида, одного из членов группы «сопротивления» в Сен-Пьере, потекли слезы. Гийонэ, старый народный учитель, человек чрезвычайно спокойный, весь жизненный закон которого заключался в том, что «его хата с краю», сделал было движение броситься вперед, но его остановили.

Шеффер продержал нас еще несколько минут. Дождь со снегом, было прекратившийся, снова начал хлестать наши мокрые лица. Наконец, по команде, ряды были вздвоены, и нас распустили.

Вечером мы ответили Шефферу. Вино и коньяк, несмотря на запрещение и обыски передач, мы получали довольно регулярно, — помогали солдаты из соседней батареи и рабочие организации Тод, застрявшие на острове и теперь занимавшиеся черной биржей. Вина же и коньяку на острове было куда больше, чем картофеля и хлеба: Олерон — один из центров французского виноделия. В тот вечер, по случаю Нового года и речи Шеффера, было выпито больше обыкновенного. Мы растопили докрасна две железные печки. В дыму, так как

печки были дырявы, и северный ветер забивал трубы, тускло горела одна единственная электрическая лампочка, дававшая не столько свет, сколько тень света. Сквозь этот колеблющийся и струящийся мрак проступали таинственными призраками тени заключенных, бесцельно толкавшихся из угла в угол нашей огромной комнаты. Часовые, приставленные сторожить нас, в тот вечер оказались совершенно пьяными. Один из них в уборной потерял винтовку и легши животом в густую мочу, ловил ее, как ускользавшую из рук черную рыбу. Другой, на чудовищном франко-немецком жаргоне, рассказывал о своей погубленной жизни, о том, что вот уже больше полугода он не имеет писем из дому, а последние известия, которые он получил, были весьма неутешительны: разбитый воздушной бомбардировкой дом и мать в госпитале, с ампутированной ногой. Слезы текли по его измятому грязному лицу, а он, прижимая ручной пулемет к груди, пил олеронское вино, которое ему немилосердно подливали французы. Все это было, конечно, ненормально и объяснялось тем, что Шеффер, произнеся речь, уехал в Ля-Рошель, а наш непосредственный начальник, лейтенант Браун, бывший до войны пастором, оказался одним из тех весьма немногочисленных немецких офицеров, которых не преобразила военная форма. Именно в такую минуту возможно было устроить восстание в лагере — короткое и безошибочное, — но именно этого мы не могли сделать, не имея приказа из штаба ФФИ.

Началось пение. Французы, которых я никогда не слышал поющими за работой, поют только на свадьбах, в кабаках и в тюрьмах. Мой друг Гийонэ — в тюрьме мы неожиданно выяснили, что у нас есть общие очень близкие друзья в Париже, — старый профессор лицея, — сочинил песню «Мы — заложники острова», превратившуюся как бы в гимн заключенных в «Счастливом доме». Эту песню я не могу привести по соображению цензурного характера. Настроение поднималось. Начались отдельные выступления заключенных. Взобравшись на стол, сияя бесподобной лысиной, булочник Рауль, присяжный певец всех олеронских свадеб, изумительнейшим басом, необработанным, но громоподобным, спел «Двух гренадеров». Последняя строфа, переходящая в Марсельезу, прозвучала так, как она вероятно больше никогда не прозвучит в моей жизни. Всеобщий шум возрастал. Все стремительней и бессмысленней кружились тени заключенных. Мэмэн, молодой учитель из Сен-Жоржа, соседней с Сен-Дени

коммунной, бывший главою местной группы «сопротивления», предложил устроить «Танец скальпа». Была выбрана жертва — Грансар, — маленький, толстый и крепкий француз. Его раздели и привязали к сосновому бревну. Затем разделись и мы, изображавшие индейцев. За неимением другого грима, мы изукрасили наши тела угольными полосами. Вместо перьев к волосам были привязаны вилки и ложки. Я был выбран, вероятно за количество волос, индейским вождем.

У ног Грансара, на каменном полу, мы разложили настоящий костер. И вот начался танец. Как одержимые, с дикими воплями, размахивая палками, изображавшими томагавки, мы плясали вокруг несчастного пленника. Дым от костра смешался с дымом, и без того уже наполнявшим комнату. Все погрузилось в желтый мрак, сквозь который еле просвечивали накаленные докрасна печи, заблудившаяся под потолком лампочка и острые языки пламени, стелившегося по полу. Наконец Грансар, не выдержав жара костра, вместе со столбом пыток, к которому он был привязан, бросился наутек, перескакивая с койки на койку и расталкивая по всей комнате солому, на которой спали те, кому нехватало коек. Шум превратился в грохот — все смешалось — визг, смех, пьяные возгласы, разбойничий свист. И вот, покрывая хаос беспорядочных звуков, раздался голос Рауля, запевшего Марсельезу. Сразу все смолкло, и уже второй куплет пели все, даже «болото» не выдержало и присоединилось к нам. До сих пор я не пьянел, но когда я услышал слова самой прекрасной в мире революционной песни, слова, в ту минуту вновь приобретшие свою первобытную силу — я почувствовал, что достиг высшего напряжения всей моей жизни, и что я наконец понял что такое свобода. Марсельезу можно петь только на баррикадах и в тюрьме. Кто ее слышал на парадах, никогда не поймет всей мощи этих звуков.

Мы не успели до конца допеть Марсельезу, как в комнату вошел Браун. Он, в сущности, был до чрезвычайности смущен: ответственность за беспорядок падала на него, и он был полон одним единственным желанием — заглушить дело. С большим трудом ему удалось успокоить наше общее волнение — главным образом потому что он пришел один, без охраны и обратился к нам не с приказанием, а с просьбой. Я думаю, что силой в ту минуту с нами трудно было справиться. Но так или иначе, а мы были довольны — Марсельеза была спета и ответ Шефферу дан.

Вскоре после Нового года сортировка заключенных была закончена: приблизительно половина была выпущена на свободу, а другую половину разбили на две группы — одну Шеффер решил выселить, другую, человек в 15, отправить на остров Рэ, в знаменитую Сен-мартеновскую каторжную тюрьму. Вначале мое имя находилось в списке назначенных в Рэ. Потом, по причинам для меня совершенно непонятным, я был переведен в список предназначенных к высылке. По всей вероятности, все это было совершенно случайным: Шефферу я не понравился по причинам чисто эстетическим — он не выносил худых и брюнетов, — и я был назначен на Рэ. Но потом он сообразил, что я, как иностранец, не представляю собой сколько-нибудь серьезной цены в качестве заложника, и меня решено было выселить. Возможно и то, что милиционеры, по доносу которых я был арестован, внезапно усовестились и сами хлопотали перед Шеффером за меня. Но так или иначе, а о решении моей судьбы я узнал только в последнюю минуту — испытание неизвестностью входило в программу «моральных воздействий», изобретенную нашим тюремщиком.

Начиная с 10-го января наши ряды стали редеть — в первую очередь были высланы заложники, взятые в Сен-Пьере — среди них мой друг Рийон, потом представители Сен-Жоржа, наконец рыбаки из Котиньер. 13-го января были отправлены те, кто предназначался для каторжной тюрьмы на Рэ (туда попали Мэмэн, Грасар, Андрэ Фуке и несколько человек, никакого отношения к «сопротивлению» не имевшие. По счастью для них все тоже обошлось довольно благополучно — через месяц, в середине февраля, они были обменены на немецких пленных и смогли вернуться в ряды ФФИ, которые продолжали осаждать Олерон и Ля-Рошель.

Накануне того дня, когда должна была наконец наступить наша очередь быть высланными, меня направили в наряд на кухню. Возвращаясь в казарму и неся в руках кувшин с жиденьким супом, я поскользнулся на замерзшей луже, упал, супа не пролил, но вывихнул себе щиколотку.

В огромной комнате, где нас помещалось до ста человек, осталось шестеро — Гийонэ, Дюпо, Жак Фуке, старик из деревни Делюс, арестованный немцами в отместку за то, что его сын удрал на континент, Тюфери и я.

Вторую печь немцы унесли. У нас осталась одна единственная, дырявая. В комнате, попруженной во мрак, — в тот вечер нам не зажгли электричества, — разгуливал ледяной ве-

гер. Огромные окна замерзли, покрывшись ледяными разводами в палец толщиной. Мы легли спать очень рано. Было нестерпимо холодно. У меня очень болела нога — я не знал толком что с ней такое, так как в тот вечер немецкий фельдшер отказался меня осмотреть. Три одеяла и два пальто, лежавшие на мне, нестерпимо давили на больную ногу. Каждые 10 минут я садился на койке, снимал поочередно все наложенные на меня покрывала, брал руками ногу, переворачивал ее, укрывался, для того, чтобы вскоре повторить все сначала. Сна не было. У печки, клюя носами, обалдевшие от сна и угара, сидели два немецких часовых. Один из них, бывший слегка навеселе, сначала долго старался убедить меня, что он — социал-демократ, что он мечтает о том, когда наконец победят Германию Гитлера, что он воюет против своей воли и что вообще во всем виноваты евреи и масоны.

— Фюрер — я не думаю, но Геббельс — наверно масон и еврей. От него все зло и идет.

У меня так болела нога, что я даже не мог смеяться, и понемногу часовой отстал от меня.

Ветер все усиливался. Дрожали окна. Утрюмо и широко гудел океан. Было слышно, как в лесу гнулись к самой земле сосны и ломались стволы тополей. Меня охватило отчаяние — в первый раз после того, как я был арестован: накануне нам сказали, что выселяемые должны будут пройти пешком верст 20 — между немецкими линиями и линиями ФФИ — и я не представлял себе, как мне удастся проделать это расстояние с моей вывихнутой или сломанной ногой. А сна по-прежнему не было. И все по-прежнему через каждые 10 минут я садился на своей койке, снимал с себя одно за другим ключие одеяла и пальто и перевернув руками уродливо распухшую ногу, снова ложился и ловил стремительно ускользящий юркий сон.

На другой день на ручной тележке Фукэ довел меня до гавани. Ветер не утих. Окруженное желтым туманом, светило ледяное солнце. На пароходе я встретился с моей семьей. Несмотря на все опасения, нас не разлучили. Но переезд через пролив, отделяющий Боярдвиль от Ля-Рошели (18 километров), ночевка в госпитале и наконец переход через демаркационную линию — все оказалось куда менее страшным, чем думалось мне, пока я лежал и мучился бессонницей в ту последнюю ночь, которую я провел в стенах «Счастливого дома».

МАРК СЛОНИМ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Мы живем сейчас в смутное и тяжелое время «послевоенного похмелья». Недолгое торжество победы с его триумфальными ракетами и праздничными салютами сменилось чувством усталости, горечи и разочарования. Они совершенно естественны. В течение пяти лет шла безумная трата жизней, энергии, труда. После эпилептического припадка войны народы в изнеможении переводят дух. Перед ними разрушенные города, братские могилы, пожарища родных деревень. Надо подвести счет жертвам и потерям. И надо приниматься за работу, чтобы восстановить дома и очистить нивы от железа и трупов.

К усталости физической — от напряжения, от жертв, от лишений — присоединяется усталость от страданий. Сколько мук приняли люди за эти годы — и на полях сражений, и в бомбоубежищах, и в лагерях смерти. И сколько пережили их близкие, — те, кого не скашивали пулеметами, не душили в газовых камерах, не пытали и не морили голодом, — но у кого погибли родители, дети, сестры, братья. И какую ношу боли несут на себе все эти миллионы больных, разутых, холодных, голодных и бездомных, скитающихся по всем дорогам двух континентов.

Многие из нас после конца войны особенно жгуче ощутили чувство стыда. Конечно, «человек звучит гордо», но на какие нечеловеческие дикости способно это двуногое существо. И как мы допустили, чтобы все это произошло, чтобы оказались возможны Освецим и Бухенвальд, истребление детей на Украине, массовые варварства культуртрегеров по всей Европе? Хороша цивилизация, способная скатиться в бредовое иступление повального людоедства. Герцен называл когда то социальный уклад человечества «современной антропофагией». Но ему, конечно, и в голову придти не могло, что антропофаги устроят когда-нибудь такой пир убийства и злобы.

Расплата за преступления, или вернее, та обстановка, в которой она происходит, тоже не вызывает удовлетворения.

Процессы главных виновников всех зверств превратились в судоговорение, обставленное юридическими сложностями, и порою оскорбляют элементарное чувство справедливости. Во многих странах, бывших под немецким игом, как, напр. во Франции, после случайных расправ, обнаружилась такая картина низости, морального разложения, подкупа и лицемерия, что громкие слова о правосудии превращаются в явную реторику.

Кроме того, поражение Германии и Японии еще не означает исчезновения тех сил, которые вызвали и питали войну. Фашизм, сломленный официально, продолжает действовать в подпольи. А часть европейской буржуазии, некогда рукоплескавшей Гитлеру, как представителю «порядка», открыто борется за свое господство, цепляясь за привилегии, за черные рынки, за монархические пережитки, за колониальные преимущества. Она ничему не научилась, ни от чего не отказалась. С прежним упорством и слепотой определенные круги во Франции, Бельгии, Греции, Италии пытаются использовать разруху, гражданскую войну и иностранную интервенцию для своих эгоистических интересов. Казалось бы, что они скомпрометированы и политически, и морально своим предательским поведением от Мюнхена до наших дней. Но они быстро перекрасились, щеголяют в модных одеждах защитников запада от восточной дикости, говорят о демократии и совершают крупные сделки с международными трестами. А в то же время фашистская пропаганда отравляет умы солдат оккупационных армий в Германии и Италии, и откровенно фашистские режимы процветают в Испании или Аргентине.

Конечно, все происходящее не вызывает удивления в тех, кто знал что конец войны не принесет с собою чудес. Противоречия, определившие конфликт в Европе и Азии, не устранены, а, наоборот, проявляются теперь с обостренной резкостью. Потребуется годы, чтобы изжить наследие фашизма и войны. Это не молниеносный акт, а длительный процесс, и наивно думать, что его результаты могут сказаться через несколько месяцев после победы, или что их можно достичь без напряженной и порою мучительной борьбы. Так же нелепо верить, что сложнейшие политические и международные вопросы, в течение столетий вызывавшие раздоры и столкновения (как, напр., устройство Балканского полуострова или

проблема Дарданелл) могут быть разрешены на двух трех заседаниях очередной конференции министров иностранных дел.

Некоторые иностранные и эмигрантские публицисты считают, что вина за послевоенные затруднения падает главным образом на Россию. По их мнению, все «образовалось» бы, если бы только Кремль оказался сговорчивее и его представители менее упорны. Россия, по их словам, «срывает» возможность прочного мира.

Такая примитивная оценка не только наивна, но и совершенно не считается с фактами. Во первых, и разруха в Европе, и борьба интересов, и столкновения между недавними союзниками, и их дипломатическая борьба, проявляющаяся в самых различных формах — все это неизбежные последствия войны. Для их постепенной и безболезненной ликвидации нужно время. А, во вторых, когда все окончательно станет на место после пережитого нами исторического землетрясения, то окажется, что расстановка сил во всем мире совершенно иная, нежели до 1939 года.

В большинстве случаев нападки на Советский Союз — если только они не продиктованы явной недобросовестностью — обнаруживают полное непонимание совершившегося или нежелание учесть его уроки. «Критики» не хотят признать решающей роли Советского Союза в разгроме Германии. Им трудно согласиться с тем фактом, что Россия, вопреки предсказаниям дипломатов и экспертов, вопреки желаниям многих европейских и американских политических деятелей, оказалась главной победительницей во второй мировой войне. Она сейчас — самая мощная сила на европейском континенте. Ее место, как великой державы, определяется сегодня не только ее размерами, населением, материальными ресурсами, но и тем политическим весом и моральным престижем, который она приобрела на кровавых путях от Сталинграда до Берлина. Сфера ее влияния необычайно расширилась, она стала притягательным центром для народов, которые она освободила и которые не сумеют сохранить своей независимости и обеспечить своего будущего без ее помощи.

Одним это не нравится, потому что они боятся коммунизации Европы, другие опасаются возрождения русского империализма, третьи волнуются по поводу распространения советского влияния на колониальные просторы Азии. Но не признавать нынешнего исключительного положения Совет-

ского Союза, какие бы страхи и тревоги он ни вызывал в Америке и Англии, было бы нелепостью. А это меняет всю международную ситуацию. В своих расчетах за последние 25 лет руководители Европы и Америки привыкли отводить России в лучшем случае пассивную роль. Сейчас надо перестраиваться, учитывая Советский Союз, как постоянно присутствующую и активную силу. Такое признание нелегко, потому что оно идет в разрез со всеми установившимися традициями. Ни дипломатия, ни печать, ни общественное мнение союзных стран, в сущности, до сих пор еще этого не «переварили». Поэтому, когда, напр., Москва претендует на то, чтобы участвовать в разрешении вопроса о Танжере или заявляет о своем праве «суждение иметь» насчет итальянских колоний, то начинают раздаваться крики о необходимости «обуздать» советских нахалов. Сов. Союз требует, чтобы другие державы потеснились и дали ему место там, где Россия за последние двадцать пять лет отсутствовала. Для Англии это означает конец ее безраздельного господства на Ближнем и Дальнем востоке. Франция видит в этом исчезновение системы, в которой она занимала ключевую позицию по охране равновесия в Европе. Америка, заглядывая в будущее опасается, что индустриальное развитие России превратит ее в привилегированного соперника на рынках Восточной Европы и Китая, и не слишком довольна укреплением СССР на берегах Тихого океана.

Возможно, что в этом соперничестве великих держав и столкновении их государственных интересов Советский Союз проявляет гораздо больше недоверия и подозрительности, нежели Англия и Америка. Но каждый добросовестный наблюдатель согласится, что у России имеются достаточные для этого основания. Я говорю не только о горьких воспоминаниях прошлого, связанных с иностранной и контр-революционной интервенцией на нашей территории, или с отторжением целых частей государства после Версальского мира. Но ведь и сейчас, в Америке мы были свидетелями того, как в момент окончания войны с Германией, определенные круги начали резкую кампанию против СССР. В газетах, на собраниях, по радио весьма серьезно обсуждался вопрос о возможности войны против России. О будущем столкновении с Советским Союзом говорили не в осторожных выражениях вашингтонского экономиста Лассвелля, усматривающего «альтернативные возможности» (по одной из них — войны не будет), а в самых

недвусмысленных терминах военного конфликта. Когда возник вопрос об атомной бомбе, то главные аргументы в пользу сохранения «секрета» были опять таки связаны с возможностью войны против вчерашнего союзника. Не думаю, что все эти разговоры способствовали усилению доверия Москвы к западным державам. Сомнительно также, чтобы враждебная позиция Ватикана, влияющего на сотни миллионов католиков в разных странах, или пропаганда некоторых кругов Европы и Америки, вытаскивающих на свет Божий затасканные формулы «защиты христианской цивилизации и принципов демократии» от «тьмы с Востока», могли рассеять подозрительность Кремля. Что ж удивительного, если советское правительство с таким упорством и твердостью ведет свою линию обеспечения безопасности СССР, включая сюда и территориальные гарантии, и создание дружественных правительств в соседних странах, и заключение местных соглашений, и дипломатическую борьбу против западных блоков, могущих послужить плацдармами для каких либо авантюр.

Очень многое в том, как советские представители проводят свою политику, «шокирует» Америку. Но не надо забывать, что психология СССР и Соединенных Штатов совершенно разная не только оттого, что в одной стране — коммунистический режим, а в другой — капиталистическая демократия. Соединенные Штаты вышли из войны с минимальными потерями. Их жертва крови ничего не меняет в их людском составе: количество американцев, убитых или раненых в войне с Японией и Германией меньше числа погибших за то же время на «внутреннем фронте» от автомобильных или иных несчастий (см. статистику, опубликованную журналом «Тайм»). Война не вызвала никаких материальных разрушений в стране и значительно увеличила ее производительность, сократив при этом безработицу и повысив доход рабочих и фермеров. На другой день после войны Америка может беспрепятственно начать перевод своей промышленности на мирный труд.

Совершенно иное положение в России, где города разрушены, поля опустошены, промышленные районы разорены, где потери в людях исчисляются десятками миллионов, а материальные убытки достигают астрономических размеров. Война прошла по России, как страшное бедствие с неисчислимыми личными и общественными катастрофами. Для русских фашизм не теоретическое понятие, а страшная действительность, источник смерти, страданий и нужды. Они хотят проч-

но и навсегда обеспечить себя от его повторения. Они с тревогой наблюдают за тем, как в ряде стран, под предлогом борьбы с коммунистами или левыми, организуются элементы, духовно близкие фашизму и находящие опору среди союзников. Они знают, что в Германии, Австрии, Греции, Румынии, Венгрии, Польше и т. д. имеются сотни тысяч, миллионы людей, кровно связанных с гитлеризмом и реакцией и представляющих опасность для будущего. Им прекрасно известно, какую поддержку капиталистическим кругам побежденных стран оказывают американские, английские и даже французские промышленники и финансисты. Немудрено, что они не обнаруживают той покладистости и прекраснодушия, которого от них ожидали многие идеалисты. Возможно, что русские совершают тактические ошибки, потому что не учитывают в ряде случаев европейской и американской психологии и не понимают, почему некоторые мелочи, в роде допущения корреспондентов в те или иные районы, могут вызвать такое возбуждение в широких кругах Америки или Англии. Но по существу их позиция совершенно ясна, и упрекать их за нее не приходится. Они считаются с реальным положением вещей. Они не верят фразам благородных деклараций и передовых статей. Они должны защищать интересы своего государства и своих народов в мире, управляемом не столько разумом, сколько эгоистическими вождениями, хищническими инстинктами и экономическими, расовыми, национальными, религиозными противоречиями. И нечего изображать, будто советский волк встречает исключительно невинных овечек. Москве приходится иметь дело не с пацифистами из воскресных школ, не с методистскими пасторами, не с возвышенными мечтателями, а с профессиональными дипломатами, искушенными политическими деятелями, опытными дельцами, промышленниками, банкирами и начальниками генеральных штабов, не отличающихся особой сентиментальностью. И поведение ее следует расценивать, принимая во внимание ту обстановку, в которой приходится действовать.

Для многих именно в этом и лежит источник разочарования. Неужели ничего не переменялось после войны, и перед нами разыгрывается на всемирной сцене все та же трагическая борьба за власть, за влияние, за рынки, за стратегические позиции? Стоило воевать пять лет для того, чтобы вновь

очутиться у разбитого корыта? И неужели у тех, кто сумел создать коалицию в страшные дни гитлеровского владычества над Европой, не хватит ума и доброй воли для совместного устройства мира после победы над общим врагом?

Психологически вполне понятно, что всеобщее неустройство, конфликты среди союзников, соперничество между великими державами, неспособность сговориться по основным вопросам безопасности и многое другое, происходящее в разных уголках земли, отнюдь не рождает светлых надежд и далеко не располагает к политическому благодушию. Но это наша вина, если мы боимся посмотреть правде в глаза и увидеть мир таким, каким он есть. Бегство от действительности в область всяческого рода иллюзий подготовило катастрофу, от которой мы только теперь опоминаемся. И нечего повторять ошибки прошлого. Недостаточно обращаться к народам с призывом «на пир труда и мира», как об этом мечтал Блок. Сейчас нужны не сладкозвучные лиры или скифские угрозы, а упорная, постоянная борьба за те начала социальной справедливости, гуманизма, истинной демократии и человеческой солидарности, без окончательного торжества которых нельзя избежать ни войн, ни катастроф, ни революций. В этом то и состоит задача прогрессивных элементов во всех странах, в самых различных общественных кругах и группах. Поощрение туманных иллюзий и нереальных планов, игнорирующих и человеческую природу и движущие силы современности или утверждение отвлеченных принципов, забывающих о реальных условиях жизни, не поможет нам изжить послевоенную усталость и разочарование. Превозмочь их можно, лишь трезво отдавая себе отчет в происходящем, разбираясь, какие новые факторы вступили в мировую игру и сознательно поддерживая те из них, которые ведут к лучшему, более достойному и более разумному устройению человеческих и международных отношений.

ПОБЕДА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

(К Нюрнбергскому процессу)

Если когда-либо писанное положительное право перестало отвечать требованиям права неписанного, то произошло это в последние годы в той области международного права, которую со времен Гуго Гроция называют «правом войны».

Женевская конвенция 1864 г., конвенция 1899 г. о законах и обычаях сухопутной войны и другие конвенции и договоры систематически воспрещали употреблять газы и разрывные пули, стараясь очеловечить жестокое явление войны. И хотя обычно только внутреннее право данного государства решает, какие деяния считаются преступными и наказуемыми, все же еще до этой войны создалось международное уголовное право, которое установило, что следует считать военным преступлением. На основании современного международного права отдельные государства в принципе обязаны привлекать к ответственности тех, которые причинили неприятельской военной стороне ущерб, не предусмотренный общим правом войны. Поэтому, если в уголовных уложениях некоторых стран такие деяния не упоминаются, страны эти на основании Гаагской конвенции 1907 года обязаны ввести соответственные новые узаконения. Ибо преследовать и карать можно лишь на основании установленного закона.

Так обстояло дело в благодушном девятнадцатом веке и в самом начале двадцатого, в те идиллические времена, когда разница между армией и гражданским населением была не менее явной, чем разница между ночью и днем. Идиллия эта прекратилась уже во время первой мировой войны. Ряд преступлений был совершен в те дни германскими войсками, особенно на Западе, в Бельгии и во Франции, где мирное население подверглось жестокому издевательствам. Вот почему Версальский договор, помимо своего решения привлечь к судебной ответственности Вильгельма II за нарушение международных договоров, постановил в статье 228-ой следующее:

«Германское правительство признает право союзных держав привлечь к военному трибуналу лиц, обвиненных в

совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. Такие лица, если они будут признаны виновными, должны быть приговорены к наказаниям, установленным в законе».

Мы знаем, что из этого ничего не вышло; несколько человек, которые были судимы германскими судами за военные преступления, отделались легкими наказаниями. Сам Вильгельм II счастливо закончил свою пресыщенную днями жизнь в голландском замке Дорне, а сотни других германских преступников пользовались всеми благами у себя на родине. Послевоенный мир мало интересовался нарушениями законов и обычаев войны. Равнодушный к отвлеченным юридическим проблемам, этот мир дождался потенциального начала второй мировой войны, наступившего с воцарением Гитлера в 1933 г., а потом и до взрыва военных действий в сентябре 1939 года.

Несмотря на потрясающие политические сдвиги, старые понятия и истлевшие параграфы писанного права оставались в силе. В то время, как общественное мнение уже в начале войны было потрясено размахом преступности в нацистской Германии, непоколебимые стражи положительного права все еще блюли во всей строгости стародавние привычные догматы.

Страшная действительность показала нам германскую стихию, которая затопила все утлые перегородки и определения международного права и разлилась на пространстве от Норвегии до Северной Африки и от Франции до Волги и Кавказа.

Рост успехов германского оружия поставил перед народами мира вопрос о том, как обуздать нацистские банды, как установить подлинный суд над ними, суд, долженствующий дать справедливую оценку чудовишным преступлениям, жертвой которых стало преимущественно еврейское и славянское население оккупированных стран.

Всколыхнувшееся правосознание масс, безграничное возмущение миллионов, не могущих удовлетвориться перспективами перевоспитания убийц, истязателей, отравителей и воров, наталкивалось на изжитые определения традиционного международного права. Одним из основных препятствий было само понятие военных преступлений. Это понятие связано с наличием войны. А между тем бесчеловечные поступки совершались немцами задолго до войны, в течение шести долгих лет. Кроме того, эти поступки имели место не только на фронте, но и в далеком тылу, и притом даже в тех странах, с кото-

рыми Германия не воевала, как, например, в Чехословакии, Италии, вишийской Франции. Умерщвление всех жителей чешской Лидицы, несмотря на весь ужас его, технически не подходит под понятие преступления. Оно является преступлением **только** с точки зрения естественного не-положительного права и с точки зрения человечности и морали. Для положительного права Лидица была неуловима.

Тех юристов, которые пытались найти новое определение сверх-военного преступления, хранители старых догм называли мечтателями и ненаучно мыслящими людьми. Некоторые буквоеды и «законники», глухо молчавшие в юридическом бессилии от 1939 до 1944 г., теперь готовы признать, что нацистские вожди должны быть расстреляны или повешены, но что это ничего общего с правом не имеет. Другой «бьющий» довод положительного права сводился к следующему: новый закон, устанавливающий более широкое понятие действий, которые подлежат ведению международного уголовного трибунала, неприменим к немцам, совершившим такие действия до издания этого закона. Словом, старое положительное международное право создало условия весьма благоприятные для германских преступников.

Но случилось чудо, естественное право победило, и выход был найден. Очевидно, и тут, как всегда в переломные исторические моменты, естественное право оказалось сильнее установленного положительного права. Международный Военный Трибунал признал себе подсудным не только деяния, подходящие под старое понятие военного преступления. В своем, отныне историческом определении подсудных ему преступлений устав Трибунала перечисляет следующие три категории:

А) Преступления против мира: планирование, подготовка, почин и начало агрессивной войны или войны, нарушающей международные договоры, соглашения и заверения; участие в общем плане или заговоре, направленном к осуществлению вышеупомянутых деяний.

Б) Преступления войны: нарушение законов и обычаев войны. В состав таких нарушений должны входить следующие действия: убийство, плохое обращение, отправка на рабский труд или просто депортация гражданского населения оккупированной территории, убийство или плохое обращение с военнопленными или с лицами, находящимися на морях, истребление заложников, грабеж публичной и частной соб-

ственности, злонамеренное разрушение городов и деревень или опустошения, не оправданные военной необходимостью.

В) **Преступления против человечности:** убийство, истребление, обращение в рабство и другие жестокие деяния, совершенные до возникновения войны или в продолжение ее; преследования на политической, расовой или религиозной почве для осуществления какого бы то ни было преступления подсудного Трибуналу, независимо от того, совершалось ли оно в нарушение закона страны, в пределах которой оно имело место.

За все упомянутые три категории преступлений устанавливается личная ответственность. С другой стороны зачинщики, подстрекатели, организаторы и соучастники отвечают и за преступные действия других лиц.

Роберт Лей, один из главных нацистских преступников, содействовавший превращению германского рабочего движения в миф, требовал безнаказанности для тех, кто совершил миллионы убийств и жестокостей. При этом он не без висельного юмора ссылался на недопустимость обратной силы закона — принцип, спасающий и его самого, и его сообщников. А между тем ясно, что ни один уголовный закон, со времен Хамураби до наших дней, не мог предусмотреть астрономическую гнусность германских рыцарей свастики. Судья Джексон в своем ответе Лею сослался не на догматы старого уголовного права, а на новый устав Международного Военного Трибунала. Этот устав вобрал в себя современное правосознание культурного человечества; поэтому он не дает международным преступникам возможности легально ускользнуть от справедливого суда. Естественное право победило.

Первые дни нюрнбергского процесса блестяще это доказали. Общее заявление защиты свелось к тому, что деяния, перечисленные в уставе Трибунала, в новом гуманитарном международном праве несомненно будут считаться преступлениями. Теперешнее международное право считает их только нарушениями морали.

Настоящий процесс, в котором вождям нацистской Германии вменяются в вину преступления против мира и человечности, нарушает принцип, устанавливающий, что позднейший уголовный закон не может применяться к действиям, совершенным до его опубликования. Этот формальный довод в пользу невозможности судить германских преступников был пущен в ход в конце ноября д-ром Штамером, выразившим

мнение и других защитников. Этот довод несомненно будет повторяться до самого конца процесса. Ибо слишком велик соблазн при помощи ссылки на процессуальный принцип мирного времени выйти обеленными из кровавой эпопеи, оставившей за собой миллионы замученных и убитых.

Судья Джексон в своем вступительном слове заявил, что подсудимые никогда не смогут доказать согласованность своих действий с велениями международного права. Все они знали, сказал Джексон, что их поступки являются по существу преступлениями против международного права; исключения не составляет и агрессивная война, которая сама по себе является преступлением, так же, как и все подготовительные к ней действия.

И хотя никто не может отрицать, что нюрнбергский процесс не уместается в рамках старого международного права, он все же отражает то новое положение, при котором обвинителем или истцом является не то или иное лицо, а ее величество — сама человеческая цивилизация.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ

По окончании первой мировой войны Париж стал музыкальной столицей Европы. С отзвучавшей «лебединой песней немецкого романтизма» (Ньюман о Малере) Берлин потерял свое прежнее значение, Вена вовсе выродилась, а Лондон оставался в академических тисках и лейпцигских пережитках. После Октябрьской революции Россия занялась перестановкой своих музыкальных вех и в силу событий оказалась надолго в этой области изолированной. В 1918 году умер Дебюсси, и тогда музыкального *arbiter elegantiarum* перешла к русскому парижанину Стравинскому; главным же церемониймейстером «объединенных искусств» — (музыки, живописи и хореографии) давно уже, с 1909 года, был другой русский парижанин — Сергей Павлович Дягилев.

О Дягилеве написаны две больших книги: первая, более значительная, Нувелем и Хаскелем, вторая, стиль которой сильно отзывается «Ключами счастья» Вербицкой, — работа пресловутого «хореавтора» Сергея Лифаря. Ни в одной, ни в другой книге, несмотря на множество приводимых инцидентов, дат и старательно подобранных деталей, нет подлинно интуитивного подхода к этому самому творческому из всех не творивших людей. Книга Нижинской давно уже дискредитирована, а большинство «воспоминаний», косвенно задевавших работу с Дягилевым, относится к ранним этапам деятельности покойного — петербургскому и первому парижскому. В настоящем исчерпывающем труде о Дягилеве — большая нужда у всех, кого интересуют эстетические сдвиги и свершения первой четверти нашего века.

За год до кончины С. Дягилева парижские «Версты» напечатали мою статью «Дягилев и его работа» (1928 год). Статья эта, юношески претенциозная и испещренная манерными афоризмами того периода, тем не менее написана по существу. Я позволю себе привести из нее несколько выдержек, так как она передает ощущение дягилевского могущества и магнетизма: «В его работе — непрерывная смена кажется единственным принципом: приятие, затем отбрасывание вре-

менно-нужных ингредиентов, каждодневная переоценка ценностей. Это не снобизм и не прихоть. Здесь нет и речи о парении над искусством, а истинное претворение и отражение его в едва ли не единственно верном зеркале. «Ты — единственный человек, умеющий мой товар лицом показать», писал однажды Чайковский Николаю Рубинштейну. С подобными словами мог бы обратиться к Дягилеву каждый из показанных им музыкантов и художников».

Одним из этих «показанных» Дягилевым музыкантов повезло быть и мне. Попав, буквально, «с корабля на балет», я был представлен Дягилеву маленьким, нарочито-ехидным, но милейшим Валечкой Нувелем, старым его соратником. Меня поразила огромная голова Дягилева, знаменитый серебряный клоч, монокли во всех его жилетных карманах, усталый и слегка «пажеский» голос, а главное — бесконечное изящество его рыхлого и слишком большого тела: помесь татарина с патрицием. «Аудиенция» прошла удачно, и в ту же ночь, после спектакля, я попал на ужин в честь Стравинского, где познакомился с Пикассо и моими будущими друзьями — композиторами Ориком и Пуленком. Вездесущего и так много помогавшего Дягилеву Бориса Кохно, либреттиста и поэта, я знал давно.

Трудно теперь, через двадцать лет, передать читателю особую магическую атмосферу этих дней, когда по мановению ленивого дягилевского жезла Париж загорался особым «райским» электричеством. Парижский воздух, пронизанный запахом акаций и бензина, никогда не был таким легким и опьяняющим. Композиторы играли друг другу свои последние балетные клавиры в уютном кабинете Франсиса Пуленка, в коридорах Театра Елисейских Полей монпарнасская братия сражалась с изнеженными собутыльниками Кокто, а в салонах разгуливали сиятельные Музы, патронессы и покровительницы Дягилева, снабжавшие его деньгами для новых постановок. Хорошему вкусу их удивляться не приходилось: они плясали под волшебную дягилевскую волдуку.

Не все сотрудники Дягилева стояли на таких недостижимых высотах, как художники Дерен, Матисс и Пикассо или Христофор Колумб от музыки — Стравинский. Ошибок в их выборе было немало (Максимиллиан Штейнберг, Рейнальдо Ган, Флоран Шмит, Рихард Штраус); но отметим, что в двадцатых годах, когда злопыхатели кричали о дягилевском разложении, ошибок этих стало гораздо меньше, если не считать

бездарного «Ромео» Ламберта и нескольких бледноватых художников вроде Прюна. Каждый из привлеченных сотрудников имел свой «шесток», свое предназначение, и каждого из них Сергей Павлович «обрабатывал», бился над его перевоспитанием, расширял его не всегда широкие горизонты, а главное, окружал его особой обстановкой творческого горения, понимания и сотрудничества. Слабейшие из этих людей, зажженные спасительной, хоть и кратковременной верой в них Дягилева, так и отгорели с его смертью в 1929 году, в любимой им Венеции. И не только они: весь парижский Олимп рассыпался как карточный домик, а тузы и короли его вскоре разъехались.

Какова была музыкальная ориентация Дягилева в двадцатых годах? Прежде всего бросается в глаза интернационализация балета. Тут были и испанцы (де Файа), и итальянцы (Риети), и англичане (лорд Бернерс, Ламберт), и в изобилии французы (трое из музыкальной «Шестерки» — Орик, Пуленк и Мийо). Из новых русских музыкантов были только Набоков и я. После «Свадебки» Стравинский отошел от балета и вернулся к нему только с постановкой «Аполлона Мусоргета» (1928 г.). Прокофьев был с Дягилевым не в ладах (после «Шута»), но в 1927 году получил решительный реванш, создав гимн Советскому труду, названный «Стальным скоком».

Несмотря на всегдашнюю ошарашивающую прокофьевскую хватку и «выглянувшее из-за тюка модных товаров лицо России», нео-классический и бледноватый «Аполлон» был более характерным образчиком тенденций 20-х годов. Третьестепенный Оскар Уайльд парижских салонов и «учитель молодежи» (!) Жан Кокто только что объявил во всеуслышание невоспитанной публике, в чем именно заключается суть настоящей музыки. Забавно читать в наши дни серию вымученных парадоксов Кокто в его прославленной книге «Петух и Арлекин», о значении которой оралли музыкальные «знатоки». Мне до сих пор не вполне ясно, на кого влияла эта до гошноты претенциозная книга, как и вся намеренно легендарная деятельность Кокто — быть может, на Радигэ, Деборда и других его литературных «учеников», но никак не на композиторов. Красной нитью через наставления Кокто проходил его характерно французский и плохо прикрытый шовинизм. В пример приведу строки, посвященные Орику: «Вундеркинд. Не чудовище (!?)... Он не любит петроградскую

ярмарку в передаче русских музыкантов» (1919 год). Это, конечно, шпилька по адресу «Петрушки». На другой странице мы читаем: «Я грубо заявил и повторяю, что кроме Дебюсси и Стравинского ни один музыкант после Моцарта не сумел так меня удовлетворить своей оркестровкой, как Жорж Орик и Франсис Пуленж...» Подобные музыкальные ляпсусы и передержки достаточно характеризуют «учителя», хотя в редких случаях ему нельзя отказать в известной меткости. Под его словами о Сати подпишутся многие: «Публика шокирована очаровательной нелепостью названий пьес Сати, но уважает грандиозную нелепость либретто Парсифаля». Прибавим, что афоризмы Кокто были очень часто картинно-косноязычным пересказом мнений Дягилева.

«Музыка, это — развлечение». Вот довольно точное определение эстетической установки последних композиторов дягилевского лагеря. После гармонического мармелада импрессионистов публике захотелось «доходчивой» мелодии и бодрого ритма, а главное непосредственного музыкального шарма, которым чаровал в свое время парижан Шопен. Дягилевцы были щедро наделены этими качествами; циническая, но острая и жизнерадостная резкость Орика («*Les Facheux*», «*Les Matelots*»), гораздо тусклее в «*La Pastorale*», и приятная свежесть Пуленка («*Les Biches*») были еще одним ударом сгнившему постимпрессионизму. Враги «Шестерки» совершенно серьезно настаивали, что и Орик, и Пуленж попросту воровали старые французские песни и фрагменты из Шуберта (более злые говорили — из Шаминад) и шпиговали их фальшивыми нотами; ловкая, мол, работа «под старичков». Про «Голубой поезд» Мийо говорили, что он так торопился красть, что даже забыл прицепить фальшивые ноты. Быть может, это и недалеко от правды, но в остальном — Мийо богатейший, хоть и неровный мастер. Музыка «Шестерки» (вернее, «Тройки», т. к. ни Оннегер, ни способная Тайфер, ни безвестный Дюрэ Дягилева не интересовали) и их друзей — Риети, лорда Бернерса и Анри Согэ — выявляла суть времени, очередной танец на вулкане, без пяти минут «пир во время чумы». «Барабау» Риети или «Кошка» Согэ характеризуют эпоху не хуже, нежели шумановский «Карнавал» — романтику Жан-Поль Рихтера и Гофмана.

С 1925 года я был своего рода неофициальным музыкальным секретарем Дягилева, и через мои руки проходило множество балетных партитур. Все это сейчас же проигрывалось

Дягилеву, мнения которого отличались предельной резкостью и «финальностью», часто неоправданной. Со свойственным молодости апломбом я ему рекомендовал ряд интересовавших меня композиторов, из которых кое-кого он и принял; называть имена — гусей дразнить. Иногда бывали и обратные сюрпризы. Я долго дружил с Вильямом Уолтоном — теперь своего рода английским композитором-лауреатом, — и наконец добился для него свидания с Дягилевым, который к английской музыке относился весьма равнодушно и единственным приличным английским музыкантом считал... лорда Бернерса. Заодно в отель Савой к Дягилеву привел я и менее даровитого Константа Ламберта, которого тогда Дягилев не жаловал за навязчивость. Уолтон играл первым — мрачное молчание. Перепуганный Ламберт дрожа уселся за рояль, и — о чудо — на губах Дягилева заиграла улыбка. Прослушав весь концерт, Дягилев спокойно заявил Ламберту, что балет его он поставит, но что название «Адам и Ева» ему не нравится. Тут же взял он карандаш, «Адама и Еву» зачеркнул, а сверху выписал: «Ромео и Джульета». Ламберт ударился в слезы, но победа осталась за ним.

Английские критики, и литературные, и музыкальные, всегда отличались исключительной сварливостью. Нация их прославлена своими хорошими манерами и флегмой; ни один, ни другой атрибут никак нельзя приписать британским журналистам. Припомним таких «литературных убийц», какими были Гиффорд, Крокер или Локхарт, зять Вальтера Скотта и его биограф; прочтите ответ Роберта Соути на озорнические нападки Байрона — такой желчной ненависти не найдешь ни в одной из европейских литератур, за исключением Селина, который, впрочем, обливал помоями не литературных соперников, а весь земной шар. Английские музыкальные критики всегда соединяли полемический жар с крайним педантизмом и нелюбовью к новшествам — в частности, со штампом «*Made in Paris*». Как в свое время знаменитый критик «Атенеума» Чорли признавал только Россини и других мелодических итальянцев, а суровый Дэвисон издевался над всеми, кто не принадлежал к стану Мендельсона, так в двадцатых годах Эрнест Ньюман честил Стравинского, «Шестерку», да и всех — гуртом — дягилевских ставленников. Ньюман, страстный вагнерианец и германофил, из современников признавал «Делиуса и Сибелиуса», как говаривал Дягилев, и таких местных сухарей, как Эльгар и скучнейший Ван Дирен. О Стра-

винском он провозгласил: «Миру надоел мужик с его плохо испеченным мозгом» — это из статьи о «Свадебке». Досталось и нам — Орику, Пуленку, Рieti и мне, исполнявшим под управлением Гуссенса партии четырех роялей в шедевре Стравинского. Ньюман разъяснил публике, что «за каждым роялем находилось по четверти композитора» — сказано неплохо. Мы, т. е. обиженные четвертушки, обратились к Дягилеву за советом: «Как быть?» Дягилев только этого и ждал — ему давно хотелось свести счеты с Ньюманом. «Господа, я настаиваю на следующем плане», сказал он с олимпийским спокойствием. «Вот вам четыре бумажных трубочки; на одной из них имя Ньюмана. Вытянувший ее наденет белые перчатки, до поднятия занавеса приблизится к креслу Ньюмана в партере, спросит его: вы ли Эрнест Ньюман? и получив утвердительный ответ, потянет его за нос, на глазах у всей публики. План прошу выполнить».

Сказано, сделано: Дягилеву не противоречили. Как на зло, трубочку с именем критика вытянул я. Подкрепившись рюмкой коньяка, я напялил белые перчатки — типично дягилевская деталь, и хоть на сердце кошки скребли, отправился неспеша выполнять свою рискованную миссию. Дойдя до кресла критика, я застыл в полном недоумении: несмотря на дававшийся в этот вечер новый балет Баланчина, кресло было пустым. Вывод предоставляю читателю. Дягилев же не удовлетворился внезапным исчезновением врага — он запретил ему посещение театра в балетном сезоне. Это было в 1927 г.

«Жасминовые тирсы наших первых менад примахались быстро», как сказал однажды Иннокентий Анненский. И действительно, хоть «музычке» (musiquette) 20-х годов нельзя было отказать в очаровании и естественной грации, но приелась она весьма скоро; весь срок ее жизни был 9 лет — от 1920 г. (начало «Шестерки») до 1929 года («Бал» Рieti). «Шуберт с фальшивыми нотами» надоел не только суровым почитателям Делиуса и Сибелиуса, но и самому Дягилеву. Успех молодых французов породил, как и следовало ожидать, новую серьезную опасность: он открыл дорогу фальшивой легкости, бесцельному и в сущности сухому и рассудочному легкомыслию... Запоздалая молодость обернулась преждевременной старостью. Беда в том, что под этим мировоззрением не оказалось фундамента: мелодического дарования Пуленка нехватило для вещей иного калибра, а едкость и неуклюжее остроумие Орика вскоре выродились в потуги на несвойствен-

ную ему «белизну» (Пастораль).

В те дни я лично не довольствовался одной лишь балетной оранжереей. Для меня двадцатые годы были эпохой Трех Сергеев — Дягилева, Кусевицкого и Прокофьева. Первый «подал» меня публике (в 1927 году я закончил балет «Три времени года» — осени Дягилев не признавал, — но он был забракован Сергеем Павловичем за «скучную музыку»), второй печатал мои вещи и даже играл мои незрелые оркестровые излияния в своих парижских концертах, а третий убедительней других современников показывал мне пример добросовестной и плодотворной композиторской работы. Но остановимся пока на Кусевицком.

По сравнению с Дягилевым, «партизаном немногих», закрывавшим глаза на все, не входившее в его планы, Кусевицкий был и остался убежденным эклектиком. Но его эклектизм — не обычная дирижерская беспринципность, не погоня за «первыми исполнениями», а неистощимый интерес ко всякой хоть чем-нибудь примечательной музыке. Программы Кусевицкого за все 40 лет его кипучей деятельности — это всенечерпывающая энциклопедия надежд, достижений и разочарований современных ему композиторов. «Ты, вот, напиши, а я сыграю», — это бесхитростное предложение толкало многих, и не только общепризнанных композиторов на радость работы. Как и что писалось — вопрос другой, но слово свое Кусевицкий всегда сдерживал: написанное исполнялось с энтузиазмом, любовью и энергией поистине неиссякаемой. Таким образом, показаны были не только Скрябин, Стравинский и Прокофьев, которых Кусевицкий играл в огромных дозах, невзирая на лютые препятствия, и печатал в своем Российском Музыкальном Издательстве, но и вся музыкальная «Митропа» — Шенберг, Берг, Барток, фон Веберн, Гиндемит, Тох, французы Альбер Руссель, Флоран Шмит, Оннегер и такие непохожие друг на друга русские, как Обухов, Фогель, Лурье, Березовский и Лопатников. Все это преподносилось в Париже без малейшего компромисса, без оглядки на прихотливую и ограниченную парижскую моду, без удобных «коньков» дирижерской практики — не редчайшее ли это мужество? Дом Н. К. и С. А. Кусевицких, декорированный Натальей Гончаровой, на улице Советника Колиньюна, не был характерным парижским салоном: здесь жили только музыкой и безостановочной музыкальной работой. Маститые мэтры сменялись зелеными юношами, вооруженными партитурами и фобкой,

давно лелеемой надеждой на признание. Все, не лишённое достоинства, признавалось или, по меньшей мере, внимательно рассматривалось и обсуждалось. С дутыми репутациями или трехкопеечными критическими дифирамбами Кусевицкий никогда не считался — судьба охранила его от необходимости равнения на могущественных парижских пророков. Новые репутации, созданные или поддерживаемые Кусевицким, часто производили такой шум, что он докатывался и до дягилевских гостиных. Как пример можно назвать Гиндемита, альтовый концерт которого, сыгранный автором под управлением Кусевицкого, произвел на Дягилева ошеломляющее впечатление. За несколько месяцев до своей смерти Дягилев заказал Гиндемиту балет — это был первый немецкий композитор, удостоившийся такой чести после Рихарда Штрауса с его неудачной «Легендой о Прекрасном Юсифе». Смерть помешала Дягилеву осуществить эту постановку.

Если Париж 20-х годов увлекался жизнерадостной и легковесной «музычкой», познавал прелести цирка, мюзик-холля и убегал сломя голову от бесконечных симфоний Густава «Malheur'a», как называл Малера Пуленк, то в Митропе лихорадочно цвел запоздалым цветком добросовестный германский формализм. Человеку, не пропагандированному дидактикой Ньюмана, проф. Сесилия Грея и прочих британских Бекмессеров, кажется странным и неуместным мезальянс декадентского нытья Шенберга и Ко. с ювелирно-педантическими изоощрениями их композиторской техники. Один лишь Албан Берг, скончавшийся в самом расцвете карьеры, позволял забыть о двенадцатитонных фокусах; музыка его дышит истинной, неприкрашенной эмоцией («Воцтек», песни, скрипичный концерт). Из «атоналистов» другого толка венгерец Бела Барток достигал иногда значительных высот, но у него имеется черезчур усердная школа почитателей: их претенциозные восторги порядком повредили беспристрастной его оценке.

Увлечение мюзик-холлем — назад к Тулуз-Лотреку и Артуру Саймонсу — и негритянскими танцовщицами привело людей к новому оазису: американскому джазу. Эрнст Кршенек преподнес его в неузнаваемо извращенной версии в пресловутом «Jonny spielt auf». Мийо предвосхитил многие джазовые эксперименты в «Création du Monde», Стравинский отвесил ему вежливый поклон в «Rag-time», и даже застегнутые на академические пуговицы англичане Уолтон и

Ламберт заболели горячкой американских синкоп («Фасад» первого и вульгарно болтливое «Рио Гранде» второго). В Париж приехал Джордж Гершвин, этот неслышанно одаренный «вечный мальчишка» с черной сигарой и ослепительной, почти африканской улыбкой. Такого своеобразного и гипнотизирующего пианизма, каким был наделен Гершвин, никогда не было и не будет. Оговариваюсь: в подобных выражениях отдавалась дань Шопену, Тальбергу, нью-орлеанскому креолу Готшалку, Листу и Рубинштейну их современниками. У меня же на памяти только два настоящих фортепианных шока — Третий концерт Прокофьева в исполнении автора и любые восемь тактов в передаче Гершвина. Джордж очаровал Равеля; заведомо парижских и лондонских салонов сбегались поглазеть на Шопена американской марки, одинаково преданного бейсболу, боксу и музыке, поставщика музыкальных небоскребов. В таланте Гершвину не отказывал и Дягилев, но балета ему все-таки не заказал, как забраковал он и «небоскребы» Карпентера. «Играет здорово, а музыка дилетантская», заявил Прокофьев, послушав Гершвина.

Однако, джазовая комета всполошила многих. Бывший ученик Бузони Курт Вейль понял джаз как унылую поэзию городской улицы, как расширенные зрачки берлинских проституток, как субботний смех трудящихся бедняков. Его джаз — это музыка плохо оплачиваемых музыкантов, играющих на грубо сработанных дешевых инструментах. Его саксофоны — покорные овцы мелко-буржуазной цивилизации. И в «Drei Groschen Oper», и в «Mahogany» Вейль, этот Георг Грош немецкой музыки, нашел верный и негаданно своеобразный тон; но к джазу Гершвина или Эллингтона, к рефренам здоровья, хорошей мускулатуры и юношеской сентиментальности его органически разломанная, со скверной улыбочкой музыка отношения никак не имела. Отдадим должное Вейлю: он одиночка-европеец, сумевший вылепить свое из неподатливой, крепкой глины джаза.

Если Вейль был заражен испарениями больного города, то Гиндемит — и в этом он сходен с Прокофьевым — родился и так и остался краснощеким здоровяком. Я никогда не верил слезам «Marienlieder» и другим ставкам на меланхолию; Гиндемит неспособен на щемящую жалостность «Jasager» (едва ли не шедевр Вейля), так же, как Вейлю никогда не приблизиться к по-генделевски величественной мощи «Художника-Матисса». Назойливые этикетки «Gebrauchsmusik», которые

Гиндемит старательно наклеивал на свои музыкально-гимнастические снаряды, заставляли многих морщиться; но уж лучше это, чем труды шенбергистов, лишь в микроскоп различимые. Ведь для ушей микроскопов еще нет.

Гиндемитом я заканчиваю свой обзор музыкальных центров тяжести рассматриваемой эпохи. Для изолированных, пусть и заслуживающих внимания метров второго плана, места не нашлось — простите. Я не приписываю настоящего исторического значения и многим из названных композиторов; но Муза 20-х годов, в короткой юбченке, с бренчащими украшениями, с длинным мундштуком — муза Марии Лоренсен, Шанель и Джона Хельда — им улыбалась. Это были ее ставленники и любимцы, и слушая «музычку» вы вдыхаете горьковатый аромат ее эпохи.

К концу 1928 года Дягилев заказал новые костюмы у знаменитого лондонского портного Дэвиса, подбрил поседевшие усики и приготовился к новой балетной весне. С балетом как-то неклеилось. Дягилев ссорился с хореографами и композиторами — из-за ухода многих в Иде Рубинштейн. Оставалась надежда на его почти безошибочное чутье. Слава Богу, оно не подвело и в эту весну — увы, последнюю. Балетные партитуры были заказаны Риети и Прокофьеву. Не подвел и Прокофьев, подарив ему своего чудесного, озаренного библейским лиризмом «Блудного сына». За громогласные похвалы «Стальному скоку» я удостоился в 1927 году пощечины от Кокто, которого в ответ вызвал на дуэль. Дуэль Кокто отклонил, сославшись на незнакомство с огнестрельными инструментами. Теперь же, с легкой руки Кусевицкого, Прокофьев был уже всемирным мастером, и «учителя молодежи» боялись его трогать. Были настоящие достоинства и в хорошо сработанной партитуре Риети. Третьей постановкой была «Лисичка» Стравинского с хореографией Лифаря, которой сам он был очень доволен. Я этого балета не видел. Но всего этого нехватало Дягилеву. Ему нужен был четвертый музыкальный «сын» (меня он официально объявил третьим). Таким образом усыновил он юношу Игоря Маркевича, композитора пожалуй необычного в акустическом смысле — он все слышал по-своему, не так, как другие, но мелодическим талантом не блиставшего. На Маркевича произвела огромное впечатление музыка Бали, клекот «гамелана», и он находчиво использовал эти ирреальные звучания в своих любопытных и свежих

Новоселье

партитурах. И тут Кусевнический оказался пионером, впервые исполнив Маркевича в Соединенных Штатах.

Дягилев отправился в запрещенную ему докторами поездку по Германии, повидал там Гиндемита и подтвердил ему свой заказ. Я встретил Дягилева за день до его отъезда, в июле 1929 года, в Париже, на представлении «Blackbirds» с незабываемой черной «ведеттой» Флоренс Миллс. Дягилев был одет подчеркнуто безупречно, но как-то не верилось в его новую молодость. Мы не очень ладим после злосчастных «Трех времен года», но видеть Дягилева, как всегда, было большой радостью. Он улыбнулся мне и устало шепелявя, попросил привезти ему в сентябре в Венецию клавир «Барышни-крестьянки», оперы, только что мною законченной и до сих пор не поставленной. В августе Дягилев умер.

Интересно отметить, что за год до смерти Дягилева Кусевнический покинул Европу. Вскоре вернулся на родину Третий Сергей — Прокофьев. Эвтерпа, уложив свою лиру в изрядно потрепанный чемодан, обзавелась необходимыми беженскими бумагами и отчалила в Америку. За ней по пятам улизнул и я.

В первой статье В. Дукельского, которая появилась в предыдущем номере «Новоселья», в абзаце о И. Стравинском на стр. 58-59 следует читать: «Если начальный период привел к апофеозу картинного руссизма — завершение корсаковской работы в «Петушке» и «Кашее», — то второй закончился кульминационным пунктом постимпрессионизма».

С. ДУБНОВА

РЕНЕССАНС РОМАНТИКИ

Русская поэзия наших дней с особенной силой напоминает о необходимости вдвигать литературные явления в рамки эпохи. Не сомневаясь в том, что художественное творчество автономно в выборе средств и путей, что словосочетание и ритм — живая плоть стиха, а не привесок к теме, мы чувствуем: писатель не может не быть страстным современником; вовлечение его в гушу мировых битв — не умаление его призвания, а высочайшая оценка. Отрицать это могут лишь эпигоны дряхлеющего эстетизма, ослепленные иллюзией безтенденционного искусства.

На русской почве «чистое», вневременное искусство было чахлым, оранжерейным растением. Связь поэта с миром, особенно явная в переломные эпохи, ощущалась не только неистовыми Виссарионами горевшей народолюбием критики, но и такими лириками, как Тютчев, Блок, Пастернак. Эта связь является подлинной сутью широко понятого «социального заказа» — принципа, который вдоволь вульгаризировался многими из его проповедников и всеми без исключения хулиателями.

Извилисты, противоречивы были пути русской поэзии в течение последнего полувека. В то время, как в органах символизма принято было иронизировать над рифмованными призывами «в стан погибающих», один из столпов течения — Андрей Белый — не побоялся в сборнике «Пепел» обнаружить и тематическое, и формальное родство с Некрасовым. Проповедь Брюсова и Гумилева, что «все в жизни лишь средство для вечно певучих стихов», — обезценивавшая живую реальность, из которой черпало соки творчество, не пустила корней: она вела мимо пантеистической просветленности «Вечерних Отней», мимо тютчевского рокового поединка душ — к срыву в холодную эротику «пути в Дамаск». Страстотерпчество Брюсова, сгоравшего подобно Себастиану на медленном огне во имя «сочетания слов», оказалось напрасным: размеренные кадении безукоризненного стиха заглушила захлебывающаяся не то цыганская, не то хлыстовская плясовая:

Новоселье

Съума сойду, сойду съума,
Безумствую, люблю...

И когда в гуле войны и революции распахнулась новая эпоха, на пороге ее встали два несхожих поэта, которых роднило только то, что оба были по росту своему времени. Блок и Маяковский, и только они, независимо от поучений критики, стали вдохновителями молодой советской поэзии (слово «метр» не шло к ним никак). И никогда еще не были эти поэты так кровно нужны писателям и читателям, как в наше суровое время.

Иначе и быть не могло: Маяковский, о котором можно сказать словами Суркова, что он

Ходил рядовым при большой революции,
Подпирая плечом боевую эпоху,

в дни испытаний очутился сразу «во стане русских воинов».
Слова о земле, которую народ

Завоевал

и полуживую вынянчил,

Где с пулею встань,

с винтовкой ложись,

Где каплею льешься с массами,

кажутся написанными в эпоху Сталинграда. И ко всей военной поэзии наших лет можно было бы поставить эпитафией:

Это время

гудит телеграфной струной,

Это сердце

с правдой вдвоем,

Это было с бойцами,

или было с страной,

Или в сердце было моем.

Загадочнее и сложнее влияние Блока.

Нелегко уместить в рамках боевой и аскетически-прямолинейной советской действительности это зыбкое двойственное творчество — амальгаму мистики и реализма, соловьевского спиритуализма и языческой хлыстовщины, по-

гружающих в забвение метелей «Снежной Маски» и буйных вихрей «Двенадцати». С военной реальностью соприкоснулся Блок не через «Двенадцать» и «Скифы», а через вещие строки «Куликова Поля» и стихов о родине, той, что «все та же — лес да поле, да плат узорный до бровей». Этот полузабытый лик России ожил в стихах, которые складывались в огне сражений, и не случайность, что иные поэты «острием штыка» чертили в походном дневнике блоковские строки...

Война всколыхнула сердца. В предшествовавший период усиленного индустриального строительства литература рассказывала на разные лады о том, «как закалялась сталь». Поэты изумленно восклицали: «гвозди б делать из этих людей — крепче б не было в мире гвоздей!» Но для величайшего напряжения сил на фронте и в тылу недостаточно было одних «гвоздевых» свойств. Проникновенно размышляет солдат в очерке Платонова: «...говорили, что души в человеке нету! А что же есть? Одно сухое тело давно умирлось и умерло бы...»

Так воскресла романтика. В литературу нахлынуло новое — любовь, побеждающая смерть, бодрящее сознание исторической преемственности, ощущение трагизма человеческой жизни, чувство, что родина — это не только страна настоящих и будущих достижений, но и «поселки, что дедами тройдены, с простыми крестами их русских могил». Нов был и сам тон эмоциональной взволнованности, доходящей порой до экзальтации. Этого явно требовал читатель: симоновское «Жди меня» (кстати, по форме далекое от совершенства) растроганно забормотала вся Россия. Затрепанные книжечки стихов — об этом с волнением рассказала Вера Инбер в речи, прерывавшейся прохотом неприятельской канонады — читались перед атакой наравне с письмами от близких.

Авторы затрепанных книжек не были крупными мастерами поэтического слова. Но стихи, печатавшиеся циклами, как главки из дневника, волновали своей простотой, интимностью, горячностью, запахом крови и разрытой окопной земли. В блиндажах и траншеях, в схваченных блокадой за горло городах не легко творить шедевры; правильно указал Эренбург, что «в годы, когда матери отдавали родине первенцев, когда дым Майданека застилал солнце... писатели не столько создавали литературу, сколько защищали ее».

Среди советских поэтов новой формации первое место занимают Симонов и Сурков. В лирике Симонова особенно

ярко проявилось то органическое ощущение родины, которое породила эпоха. Сквозь медленные, плавно текущие строки, которые несомненно войдут во все антологии, встает бескрайная равнина — «деревни, деревни, деревни с погостами», и Некрасовское широкое дыхание чувствуется в эпическом разливе стиха:

По русским обычаям, только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Своеобразна неравноценная любовная лирика Симонова. Ее вдохновительница — не боевой товарищ и не верная, терпеливая жена, а своенравная, «ветренная, колючая» любовница, к которой поэт «пожизненно себя приговорил». Таких речей не слышали мы в русской поэзии давно, с тех пор, как замолк блоковский бред об «очах, где грусть измен». Подруга Симонова с ее капризным очарованием — наиболее конкретный, индивидуализированный женский образ в молодой советской лирике.

Тверже и аскетичнее мужественное дарование Суркова, знающего,

...что значит быть современником
Непомерно большой эпохи.

Не вина поэта, что в стихи его приходят только «прямые и жестокие слова»; ведь «выбора... не давала эпоха». И хоть на дне шевелится «робкая, неуклюжая нежность», хоть душа болит от того, что «столько в юности недолюблено, недорядовано, недопето», над всеми чувствами верх берет гнев, и когда он доходит до белого каления, рождаются слова, безжалостно четкие, как дробь пулемета. Но нужно быть глухим к голосу и литературы, и человеческого сердца, чтобы не расслышать страдания, стоящего за этими тневыми словами*):

*) Образцом безмерного эмигрантского ожесточения является недавняя грубая выходка публициста из право-социалистического лагеря, обозвавшего Суркова «стихоплетом»...

Враг вошел в мой дом и разбил,
И развеял в пыли дорог
Все, что я растил и любил,
Как зеницу ока берег.

И воздаст ему кровь за кровь
Мой не знающий меры гнев
За разрушенный отчий кров,
За потоптанный мой посев,

За возвращенные мной сады,
За короткий сыновний век,
И за каждый глоток воды
Из моих белорусских рек.

Долматовский, Рыленков, Щипачев, Матусовский и целая плеяда начинающих поэтов тематически и формально родственны «запевалам» военной поэзии, хоть у каждого из них — свой особый тон. Особняком среди разлива лирики стоит эпическая поэма Твардовского о Василии Теркине, этом советском Платоне Каратаеве. Принятая, выражаясь словами Симонова, «на вооружение армии», она прошла с бойцами путь до самого Берлина, и от бодрых, легких, звонких хореев «ярче становился свет в блиндаже (письмо солдата-читателя).

«Исповедью горячего сердца» следовало бы назвать всю сплошь деятельность группы ленинградских поэтов. В обстановке, в которой самые простые жизненные функции требовали героических усилий, литературная работа становилась неустанным подвигом. В военную поэзию, исполненную тоски, раздумья и гнева, ленинградцы вносят свой особый трагический тон. Сплав отчаяния, вызванного личными потерями, с твердой решимостью жить и творить побуждает их заявлять, как сделала это Ольга Берггольц на майском пленуме Правления Союза писателей, что подлинная литература нашего времени должна быть трагедийна и исповедна. Писательница имела в виду прежде всего поэму Антокольского, посвященную памяти юного сына, погибшего на фронте; но исповедью или дневником является все, написанное ленинградцами — «Пулковский меридиан» Веры Инбер, «Блокада» Зинаиды Шишовой, стихи самой Ольги Берггольц. Эта новая суровая романтика признает только большие чувства — об

Новоселье

этом горячо говорила на пленуме Маргарита Алигер. Ее слова — не теория; недавно появившаяся поэма талантливой писательницы — не только автобиография, но и биография целого поколения, сгорающего в огне больших чувств. «Высокий лад» дан в самом начале эпитафиями из Лермонтова и Блока, этих величайших романтиков русской литературы.

Блок когда то закончил письмо, обращенное к начинающей поэтессе, твердым наказом: за книги надо отвечать жизнью. Сверстники и соратники Маргариты Алигер, самоубвенно бросавшиеся в строительство, в любовь, в войну, не нуждались в таком поучении: они знали, что за все надо платить наивысшей ценой. Путь, описанный в поэме «Твоя победа», ведет от пионерского детства через трудовую и требовательную юность — к дням, наполненным радостной работой и усилиями двух любящих людей «не маленького роста» создать «высокий лад» совместной жизни. Эта душевная неуступчивость, заставлявшая упорно «сражаться с собою», в дни войны помогла Алигер преодолеть тоску по трагически погибшем муже. И на одном из поворотов крутого и трудного пути, писательница обрела новую боль и гордость: дочь «богатой, сильной, строгой» земли, носящая в душе запахи русских полей, слова Пушкина и Гоголя, она почувствовала себя дочерью жизнелюбивого народа, на который варварство обрушило сильнейшие удары. Ведь это и ее

Гонят на Трешлинку босиком,
Душат газом, в душегубках губят,

и кровно ей сродни дальние «потомки Маккавеев» —

Мальчики, пропавшие без вести,
Мальчики, погибшие в боях,

ибо

Тесно слита вместе
Наша несмываемая кровь,
И одна у нас дорога мести,
И едина ярость и любовь.

Отголоски влияния М. Алигер явно чувствуются в твор-

честве начинающих поэтов (Николаева, Друнина). Ломкими, но верными и чистыми голосами поют они о «большой-большой» любви, которая сильнее смерти, о гибнущих «светлых солдатах» и матерях, тоскующих в «яблочном захолустье». Неудивительно, что Тихонов на пленуме говорил о том, что «облако тоски» в современной поэзии закономерно и неизбежно. А ведь было время, когда разные Авербахи, рьяно разнюхивавшие неблагонадежность, провозглашали каждую нотку трагизма в литературе — упадочничеством и требовали от поэзии сплошного барабанного боя!

В многоголосом хоре советских поэтов раздавался в унисон с другими — к радости всех, любящих русскую литературу — негромкий, но внятный, как всегда, голос Анны Ахматовой. Свообразным чутьем ощутившая в трудные годы гражданской войны, как «подходит чудесное к развалившимся старым домам», она и теперь со спокойной решимостью приняла долю тягот, ставших уделом любимого города:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не страшно остаться без крова.

В судьбоносные дни затворнице, которая всю свою жизнь «только пела и ждала», стали близки

Незатейливые парнишки,
Внуки, братишки, сыновья,

оборонявшие «русскую речь, великое русское слово»...



В течение ряда лет культура в Советском Союзе устремлялась вширь. Ее пафосом было растворение личности в коллективе, ее мечтой — охват широчайших кругов и приближение той поры, когда крестьянский сын понесет с базара Белинского и Гоголя. Процесс этот далеко еще не закончен; но множатся признаки, что одновременно растет другая тенденция — нисхождение вглубь, в недра человеческой души. В этом суть порожденного войной ренессанса романтики. Намечая задачи ближайшей эпохи, Эренбург пишет: «приходит время не героизма, а героев... Тем самым писатель возвра-

Новоселье

щается к своей стихии — к комплексу мыслей и чувствований, который мы называем душой».

Поэты мечтают о том, чтобы в стихах нашло свое выражение новое свободное, просветленное восприятие мира. Под этим углом зрения рассматривают они накопившийся огромный материал переживаний. Не отдельные моменты великой военной эпопеи привлекают их внимание, а «история человека, в испытаниях войны осознающего свое значение, свою силу, свою личность, полноправие и важность своего душевного мира». Поэты, по признанию Ольги Берггольц, стремятся в новых произведениях «достичь того соединения «быта» и «бытия», ощущением которого щедро обогатила война сознание многих работников искусства».

Высвобождение человека из под груды бытовых подробностей — задача социалистического реализма, провозвестником которого был Горький. Эта литературная задача тесно сопрягается с процессами, происходящими в народных глубинах: ведь ренессанс романтики принесли с собой ветры великих перемен. Тернистый и зигзагообразный путь жизни и литературы ведет к созданию нового, подлинного гуманизма и индивидуализма, возможного лишь на почве бесклассового общества.

НОВАЯ АТЛАНТИДА

Человечество стоит перед моральным экзаменом: начнется ли новая эра? Увидят ли ее наши дети, или же еще наше поколение будет присутствовать при конце мира?

Совесьт всего человечества испробована будет на пробирном камне бесконечно малого — атома.

Пусть ли в ход в случае новой войны бомбы, «могущие убить несколько миллионов человек сразу», или не пусть? — Что бы там ни говорили и ни писали, — пусть.

И вот, на пороге новой эры — все в тревоге. Спокойно спать, абсолютно спокойно спать — больше нельзя: тень возможного внезапного конца простерлась над каждым городом, над каждой страной.

Границы, укрепления, армин, морские и воздушные патрули, даже расстояния, даже океаны — больше не защита.

Как у Платона: «В один злой день, в одну злую ночь, остров Атлантида, погрузившись в море, исчез».

Взорвать целый материк мы еще не в состоянии. Но достаточно и того, что мы можем взорвать целую армию, целый город. В течение 2.000 лет церковь тревожила воображение верующих образами Апокалипсиса. Сначала эти пророчества принимались всерьез, затем в них перестали верить и успокоились.

Как далек от нас теперь счастливый, благополучно-самоуверенный девятнадцатый век, с его самодовольной «позитивной» наукой! Из бесконечно малого, невидимого простым глазом, явилась страшная сила. К добру, или ко злу? Чашы весов еще не пришли в равновесие.

Современная тревога человечества не столь возвышенного порядка, как 2.000 лет тому назад, когда новая эра зарождалась в проповеди нескольких еврейских простолюдинов. Мир в то время переживал не столько материальный, сколько духовный кризис. Идея абсолютной ценности каждой человеческой личности, в противовес античному понятию о человеке — эта бесконечно-малая, как казалась Цельсу, величина («Жалкой смертью окончил жалкую жизнь») тем не менее

Новоселье

разложила и взорвала тогда весь мир римского *Orbis Terrarum*, и за этот взрыв человечество заплатило гибелью Рима и Афин, Александрии и Серапеума.

Духовный кризис нашего века заглушила борьба с фашизмом — война. Тревога сегодняшнего дня более низменного порядка: «Что делать с открытием, как охранить себя от злоупотреблений?»

Если собрать всех ученых, всех инженеров древности, всех государственных мужей, всех здравомыслящих и перенести их в наш мир, они вероятно заявили бы, что все им показанное — «невозможно» и сочли бы сном, фантазией или колдовством наши самые «позитивные» машины и аппараты.

Только поэты, как Платон, слагатели мифов о золотом веке, повествовали о забытом прошлом человечества — индусские, тибетские и китайские летописцы — не удивились бы сверх меры, не были бы потрясены и нашли бы в нашей действительности воплощение своих мифов.

Поэтому и мы, стоящие перед входом в легендарное будущее, сейчас ближе к древним мифотворцам, чем к своим дедам и отцам, представителям «здравого смысла», еще вчера доказывавшим невозможность полета на аппаратах тяжелее воздуха.

И если под корой древних мифов сохранилась лава бушевавших вулканов, если эти предания не сплошь вымысел, как доказывали «здравомыслящие», то может быть теперь пора по-новому пересмотреть их и открыть в них ценные для нас указания.

Откуда в маленьких Афинах, и даже в гораздо более обширном государстве — современном Солону Египте, могла возникнуть мысль о запрещении войны, как об условии существования цивилизации?

«Главный и священнейший был закон у них (атлантов) никогда не поднимать друг на друга оружия».

Разве мог древний эллин или древний египтянин понять всю тяжесть слова «война», как мы его можем понять теперь, после Хиросимы?

Платон с достаточной наглядностью изображает государство атлантов, со всеми его техническими чудесами. Миф или история? Неважно. Важно то, что наша Атлантида может погибнуть, если разразится новая война. За несколько лет до последней войны группа ученых тщетно обращалась к разным правительствам и частным лицам за кредитами для постройки

особо мощного телескопа, при помощи которого можно было бы наблюдать жизнь на Марсе. Стоимость этого телескопа равнялась стоимости одного военного корабля — и никто на это денег не дал. Где там интересоваться Марсом, когда так нужны деньги для вооружений!

Знатоки-востоковеды знают, что в древних рукописях Тибета, Индии и Китая содержатся записи, касающиеся, в частности, допотопной истории мира. Там рассказаны предания о двух великих цивилизациях, существовавших на погибших от потоков материках — Лемурии на Тихом океане, и Атлантиде — на Атлантическом. По вопросу об этих материках во всех странах написано очень много книг, но опять-таки, в данный момент для нас не важно, существовали ли они.

Откуда в древнем мире могла возникнуть идея Соединенного Человечества? Вот что нам интересно.

К чему было индусам и тем более всегда замкнутому, малонаселенному Тибету сочинять миф о мировом союзе народов? Откуда взяли эту идею китайцы, до последнего века жившие обособленно от других?

«Древние великие цивилизации, говорят предания, были союзом тогдашних культурных народов разных рас, мировым объединением, включавшим в себя все области, занятые культурным человечеством».

Миф или история? Сегодня для нас важно лишь то, что единственной возможной формой будущего международного общения должен явиться такой же Свободный Союз — единственная реальная гарантия против войн, неминуемых при существовании отдельных государств или даже больших федераций народов. Тяжесть опыта легендарных Лемурии и Атлантиды свалилась на плечи современных людей — и от того, найдут ли они в себе силу организовать по-новому свое общество, зависит — и очень конкретно зависит — самое близкое будущее.

Пока же, с 6-го августа 1945 года, в период междувоенной агонии, мы осуждены жить под вечным страхом: а вдруг?... и этот, пока еще неизвестный ученый, и этот, пока еще неизвестный народ, — те, которые дерзнут, подобно апокалиптическому Ангелу с чашей гнева в руках, как проклятие тяготеют над миром.

Окажется ли инстинкт самосохранения глубже инстинкта разрушения? Мир бесконечно малых, невидимых простым глазом существ — космические лучи, атомы, бактерии — ока-

зались тяжелой ношей для плеч современного Атласа.

С великой исторической интуицией наша родина первая дала частное воспроизведение забытого мифа. Но сколько национальной гордости, сколько национальных и классовых интересов восстают на нее, сколько новых скептиков-Аристотелей высмеивает новую Атлантиду Платона! Еще чудо: в первый раз в истории — в нашей истории, строившейся руками белых людей, — «цветной народ» выступает среди «Великих Пяти» как равный среди равных.

Вот опять — черновой набросок, воплощение мифа, первый проблеск легендарного мирового союза. Но сколько еще всюду и везде алчных узко-национальных вождельний!

«Кто умножает познания — умножает скорбь», сказал Экклезиаст. Скорбь о лучших людях и о лучшем мире становится для нас насущной необходимостью.

«Лучшее и прекраснейшее племя обитало в вашей земле (до потопа) — вот чего вы не знаете», говорит Саисский жрец Солону в платоновой легенде.

Современное человечество должно найти в себе силу стать «лучшим племенем людей» — это властное требование маленьких существ, не видимых простым глазом. Все мы согласны с этим, об этом сейчас везде много пишут и говорят, но кто же, когда и как возьмет на себя неотложно срочную задачу перейти от слов к делу?

Есть еще одна легенда — уже не из допотопного, а из нашего мира. Это — «Повесть о 47-ми самураях», которая переведена на все языки. В Японии эту повесть рассказывали детям в школе.

«47 самураев поклялись самурайской честью отомстить тем, кто унизил их господина. Чтобы отвлечь подозрения и дать возможность врагам успокоиться и ослабить бдительность, они несколько лет подряд изображали из себя пьяниц, гуляк, полоумных и, наконец, выбрав удобный момент, отомстили».

При наличии старого порядка в мире никакая полиция не уследит за бесчисленными «самураями» у различных народов. Человечество стоит перед выбором: преобразиться или погибнуть.

ЗЕМЛЯКИ

Был жаркий июльский вечер 1944 года. Взяв велосипед, я отправился за механиком, чтобы к утру починить шину грузовика. Надо было во что бы то ни стало отвезти провизию нашим скрывавшимся товарищам: были и еще какие-то срочные дела. Поезда уже почти не ходили — путь беспрестанно бомбили самолеты.

Механик жил на окраине городка в уютном маленьком доме. Проезжая полевой дорожкой мимо огородов и полей, на перекрестке я заметил трех мужчин, тянувших самодельную тележку со всяким скарбом. Они были от меня довольно далеко, но одного взгляда было достаточно, чтобы подумать — наверно, русские. Я научился определять, и почти безошибочно, русских, несмотря на давность их пребывания за границей и на костюмы и платья, купленные и заказанные в Париже. В этих же сомневаться было трудно: они шли, подымая легкую пыль, которая казалась пылью русской дороги, и все вокруг них, как в сказке, превращалось в русское — и жнивье налево, и кустарник направо, и сама дорожка. Проехав немного, я остановился и посмотрел им в спину. Сомнений не было: только русские могут так шагать, так прутиком помахать, так заправить рубашку.

Я заметил взятое ими направление и нажав на педали быстро доехал до механика и затем, повернув обратно, пустился догонять тройку. Я их потерял из вида, но следы неотбятнутых шинами велосипедных колес тележки вели меня безошибочно. Наконец, я их снова увидел, совсем близко, и недоезжая нескольких шагов, окликнул их:

— Эй, земляки, куда идете?

Все трое разом остановились и обернулись. На их лицах появилась настороженная улыбка людей, которым надо быстро определить создавшееся положение и сделать вид, что настроение у них самое обыкновенное, беззаботное.

— Вы — русские?

— А вы сами что же, русский будете?

— Да, я русский, давно уже тут живу, но русским остался. Вот здесь, недалеко, на мельнице работаю.

— На мельнице? — повторили все как-то разом, с чувством успокоения и облегчения.

Я уже давно замечал, что эта моя профессия, древнейшая и по-моему благороднейшая, внушала какое-то доверие и чувство спокойствия в эти тревожные времена и в особенности среди русских. Мельница — вещь ясная, простая, всем понятная — и укрыться можно. К тому же и хлеб рядом, так сказать, источник жизни. На мельнице пропасть нельзя, это очевидно. Ну, а для русского человека запах теплого, свежеразмолотого зерна всегда будет запахом родины, где бы он его ни нюхал. В виду всего этого я мельницу сразу же и вернул и вполне достиг желаемых результатов: улыбки прояснились.

— Ну, а как же вы узнали, что мы — русские? — задал вопрос тот, который мне сразу же показался более интеллигентным: вопрос, с легким намеком на подозрительность.

Это прозвучало так наивно, что я невольно засмеялся.

— Я русских вообще за версту вижу и без ошибки распознаю. А в вас и не сомневался.

— Как это так вы определяете, по какому признаку?

— Да по всему. Вот вы, например, запустили брюки в голенища, да и сапоги пожалуй что русские.

— Верно, сапоги еще русские, — сознался он виновато и вместе с тем радостно и любовно глядя на свои ноги.

— Вот и смотрите вы на сапоги, как только русский смотрит. А кто здесь так ходит? Никто. Вообще, по всему видно. Я вас еще на перекрестке заметил. Да вы не опасайтесь, я вас немцам не выдам. Куда и откуда идете?

Шли они из Шербурга, там были русские трудовые лагеря. При эвакуации поезд их разбомбили, и немцы разбежались. Вот они и стали уходить из прифронтовой полосы вместе с французскими беженцами. Бомбардировки были страшные. И с тех пор идут уже месяц, — «гуляем по Франции, ничего страна, жить можно». Кормятся на фермах, где немного поработают, а где так переночуют. Французы в общем при слове «русс» принимают хорошо. Это и было видно по их здоровым загорелым лицам.

— Города и деревни мы обходили и больших дорог избегали. Теперь повсюду беженцев много, да и за продуктами на всех дорогах горожане, видим, ходят и ездят. Так вот мы

и идем, и никто нас пока еще не беспокоил. А теперь ищем где бы остановиться переночевать.

— Заезжайте на мельницу. Как шоссеюную дорогу пересечете, так полевой дорожкой на большую фабричную трубу и идите. Я поеду вперед и буду вас ждать. Если все в порядке, навешу тряпку на ворота. Если нет тряпки, то лучше не заезжайте.

У меня имелись тогда все основания быть осторожным. Незадолго до этого всю нашу организацию накрыло гестапо, произведено было много арестов, захвачено оружие, и частое пребывание на мельнице каких-то подозрительных людей могло привлечь внимание местных шпиков.

Убедившись, что все в порядке, я стал поджидать. Вскоре тройка появилась во дворе, и мы уже встретились как друзья. Самым молодым был Миша, коренастый, курносый, среднего роста. Родом он был из Сибири и работал трактористом где-то около Харькова. Было ему лет 19, а забрали его немцы на работы еще совсем юным. Говорил он немного нараспев, медленно и хорошим русским языком. Иван, постарше, богатырского сложения, грудь такого обхвата, каких на Западе не видно, в белой рубахе и узких для него штанах имел вид плотно набитого мешка с мукой. Родом он был из под Пскова, но с эстонской стороны, рабочий. С самого начала войны был взят под подозрение в симпатии к русским; потом его стали гонять по тюрьмам и лагерям. Лицо у него было приветливое, доброе и умное.

Третий, Андрей Николаевич, был моего возраста, лет под сорок, самый старший и самый интеллигентный. Работал техником на постройке метро в Ленинграде и был захвачен немцами, когда поехал за своей семьей в деревню.

На дворе мельницы они встретились с тремя нашими рабочими, к которым я питал полное доверие, так как они состояли в той же организации «сопротивления», что и я. Молча пожимая им руки, французы смотрели на них упорно, как бы желая разгадать в их облике тайну сталинградской победы и разгрома немцев.

На случай таких посещений у меня уже был готов сарайчик. Гости разложили свои вещи, умылись, и мы сели ужинать. Тут подошел и мой товарищ Борис, бежавший из концлагеря, и началась беседа. Они рассказывали про свою жизнь, а мы — про свою, и как эта жизнь ни была различна — у них на родине и у нас во Франции, — все чувствовали себя легко

и просто. Крепкий русский дух и за 22 года заграничной жизни не выветрился.

Рассказывая о том как хорошо было жить до войны, Миша вспомнил о своем пребывании в госпитале, в котором он находился на излечении. Он глядел в потолок, и госпиталь представлялся ему раем, где он лежал на чистой белой постели, а вокруг него хлопотали заботливые и красивые медсестры, окружавшие его любовью и вниманием. Одна все приходила, садилась на койку, брала Мишу за руку и спрашивала:

— Ну как, Миша, лучше тебе?

И очевидно Миша был влюблен в нее, так как, слушая его, действительно ничего прекраснее, чем эта больница нельзя было себе представить, так хорошо он рассказывал о своем райском в ней пребывании. Когда он выздоровел и выписался, его вышли провожать, он обернулся, сестры все еще стояли и глядели ему вслед. Слушая Мишу, мне представлялась такая замечательная картина: вот, прямо в зеленую степь выходит Миша, таким, каким передо мною он сидел, в ночной рубашке с красной оторочкой, заправленной в брюки, и келке на затылок, а за ним стоит чудный огромный госпиталь, как греческий храм, а за госпиталем — заходящее солнце, и от него идут во все стороны лучи, и небо над Мишей золотое от солнца и переходит в темно-синее со звездами. Около госпиталя стоит вся в белом сестрица и смотрит на уходящего Мишу.

Но вот наступило время слушать Москву. Не всегда у меня летом слышно ее было, но на этот раз мне повезло, и как только я закрутил кнопки приемника, сразу послышался знакомый голос:

— Говорит Москва...

Все головы разом придвинулись вплотную к радио-приемнику, кто на коленях, кто на корточках, не хотели утратить ни одного слова. Лица стали серьезными и взволнованными. Три года не слышали. Родина осталась далеко, далеко. И вдруг через фронт, через Германию, где все вообще запрещено, дошел этот ясный, твердый голос из сердца страны прямо в сердца людей.

— От Советского Информбюро.... оперативная сводка... за... июля... в течение... июля... войска... фронта...

Как раз был победный день, как и все почти дни тогда,

и мы услышали обычную уже для меня и необычную для них фразу:

— В ознаменование одержанной победы столица нашей родины Москва салютует доблестным войскам...

И в означенное время послышались грохоты салютов, то отдаленных, то близких.

Я всегда представлял себе московскую ночь в эти минуты так же ясно, как Спасскую башню, когда слышал этот знакомый с детства перезвон и бой колокола.

Потом мы прослушали гимн Советского Союза, которого они еще не знали, и я сказал им его слова.

Наступило молчание. Все трое смотрели перед собой, как глядят наверно только в будущее...

Во время оккупации мы часто прославляли это замечательное изобретение — радио, и когда мой приемник портился, я готов был отдать все на свете, чтобы поскорее выйти из той арктической ночи, в которую мы тогда погружались.

За чаем беседа возобновилась, и Андрей Николаевич сообщил, что он родом калужанин.

— А какого бывшего уезда? — полюбопытствовал я. — Ведь я тоже Калужской губернии.

— Мещевского.

— Не может быть! Выходит мы совсем земляки, я тоже Мещевского.

Получалось уж совсем неожиданно. Тут я стал сам себя «разоблачать» и сообщил, что я, собственно говоря, сын помещика, и что имение было у самой станции.

— Это с яблонями-то? Знаю, знаю. Как ваша фамилия, напомните.

Я назвал. Оказалось, что Андрей Николаевич — крестьянской семьи, из соседней деревни, все отлично помнит, а в имении теперь совхоз, наверно, немцы сожгли.

Когда я последний раз там жил, мне было всего 10 лет; все же я очень многое помнил, и мы перебрали все окрестные места, вдаваясь, как обычно в таких случаях, в самые мелкие подробности — где какая была деревня, где кирпичный завод, где паровая мельница, какой был тракт и какие мосты.

— Вот судьба-то! Выходит, значит, что сижу я в гостях у нашего бывшего помещика. Не думал никак, что еще придется, — заявил Андрей Николаевич, с хитрой усмешкой и интересом поглядывая на меня, так как очевидно образ поме-

Новоселье

щика никак не вязался ни с моим видом, ни с укладом нашей жизни.

Этот эпизод окончательно развеселил всех, и было хорошо в эту минуту от того, что мы себя почувствовали земляками, а «помещик» и для меня, и для него отошел в далекое прошлое, вообще перестал существовать.

Они прожили у меня, потом у Бориса, несколько дней. Хотя мы и уговаривали их остаться, но с устройством их на фермы мы натолкнулись на трудности: гестапо за последнее время слишком напугало местных жителей. Их же какой-то неудержимой силой тянуло на восток, как и тех двух стариков литовцев, которые жили у меня до них.

«Помаленьку, помаленьку, вот так, пойдем, пойдем, и до дому дойдем». Это от того, наверно, что в воздухе повеяло, как весной, победой и концом войны, хотя она еще и продолжалась, но уход немцев из западных районов Франции был так неожиданно стремителен, что казалось им: «пока до немецкой границы доберемся, там уже и наши будут». Никаких сомнений больше быть не могло — немцам крышка.

Мы проводили их, нагрузив до отказа повозочку всякими продуктами, а нам они на память оставили лишний котелок. Мы долго прощались и пожелали друг другу встретиться на родине.

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ПРЕГЕЛЬ

В галерее Милш, в Нью Йорке, 28 января открылась выставка картин Александры Прегель. Выставка охватывает работы за два года, очень разнообразные по подходу и теме.

Декоративно красивы полотна, изображающие цветы. «Осенние цветы» — контраст желтого и темно-коричневого; «Маргаритки» — по-весеннему свежий и радостный букет, в лучах солнца, у открытого окна; «Белые цветы» — белое на белом, одна из любимых красочных тем художницы. Тот же подход чувствуется и в «Зимнем пейзаже»: каждая часть картины продумана орнаментально; ритмичны линии холмов, дорог и деревьев.

Стремление к декоративности уравнивается работой над формой, изучением природы. Показательны в этом отношении натюр-морты. Каждый из них является разрешением особой красочной и композиционной задачи. В «Композиции с глобусом» — комбинация простых геометрических форм шара и куба с элегантными завитками виолончели. Орнаментален натюр-морт со шляпой, в синих и красно-коричневых тонах, построенный на контрасте углов и волнообразных линий. Очень хороши желтые с голубым «Яблоки на скатерти» и «Белый» — с его игрой тонких нюансов. Искание простоты формы и чистоты краски, характерные черты школы Сезанна, видны в этих натюр-мортах. С неподдельным вкусом скомпонованы предметы разного размера в «Глиняной корзинке». Знаем ли мы как красива цветная полоска на белом полотенце, лодочка пустой ореховой скорлупы? Оригинален по замыслу и хорошо проработан натюр-морт с бутылками. В «Деревянной чаше» — эффект лилового с серым — мастерски передан материал каждого предмета: мягкость ткани, твердость деревянного крепкого стола, живая сочность фруктов. И отчетливо осознаны взаимоотношения этих предметов на полотне под одной рамой, — то, что есть композиция: понимание того, что картина не «случайный отрезок случайного куска», а своего рода микрокосм, «малый мир», построенный по законам равновесия и ритма.

Своеобразно разрешена задача ракурса в лежащем «Ню»; очень хороша голова на переднем плане. Прекрасно передано движение в «Женщине перед зеркалом» (подробность: как орнаментально скомпонованы мелкие предметы на столике!).

Большое полотно «Виолончелистка» совмещает в себе трудно соединимые тенденции: стремление к натурализму с исканием це-

лостности формы и декоративности. Задумана она очень оригинально. Виолончель и виолончелистка составляют одно целое, в котором главное — смычок; прямой угол смычка и виолончели ведет всю композицию. Красиво, с большим чувством ритма проработаны складки платья. Трактовка рук и лица натуралистична.

Особое место в ансамбле выставки занимают композиции: «Балет», «Цирковые кулисы», «Рождество 1944 года» и «Заботы». В первых двух полотнах чувствуется влияние импрессионистов с их формулой «не цвет, а свет». Очень хорошо передан особенный балаганно-сказочный свет прожектора на заднем плане. В «Балете» задний план поглощает весь интерес художницы, и от этого несколько пострадала цельность первого плана. В «Цирковых кулисах» равновесие соблюдено, и композиция гораздо цельнее и крепче. «Рождество 1944 года»: натюр-морт со свечой и рождественским поздравительными карточками, а сзади — то, что рисует память, — образы трагедии за океаном; в этой работе есть хлесткость плаката, она запоминается. «Заботы» — три хищных птицы над крышей дома, птицы или хлопья чего-то глухого и жуткого, из чего сделана забота. Композиция эта, как чисто экспрессионистическая, стремится выразить посредством условного символа то, что иначе в живописи невыразимо. Это попытка освобождения от уз материальных форм. Обладая фундаментом школы и владея формой, А. Прегель имеет право позволить себе роскошь такого «опыта свободы».

Е. Рубцова

РУССКИЙ КРУЖОК ПРИ КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Деятельность Русского Кружка при Колумбийском университете, вступившего во второй год своего существования, растет и развивается. В состав его входят 33 постоянных члена, но организуемые им лекции привлекают большую аудиторию. Пользуются популярностью и устраиваемые по вторникам послеобеденные чаи с оживленными застольными беседами на русском языке и музыкальной программой.

Цикл лекций открылся выступлением проф. Гроника, охарактеризовавшего влияние Толстого, Достоевского и Горького на немецкую литературу. Следующая лекция, прочитанная Магдалиной Покровской, сотрудницей крупного издательства Макмиллан и посвященная русским религиозно-философским течениям прошлого века, привлекла большую аудиторию. Докладчица осветила отношения между основными идеями русской философии и началами западного гуманизма.

Тема «Советское воспитание» представляла особый интерес для педагогов и психологов. Лектор д-р Джон Зоммервилль, преподаватель философии в Гунтер колледже, жил некоторое время в Советском Союзе, изучая постановку школьного дела и методы воспитания. Его доклад вызвал оживленный обмен мнений. В лекции об истоках русской народной поэзии проф. Роман Якобсон, один из крупнейших знатоков славянской филологии, осветил мало исследованный вопрос об общности корней песенного творчества славянских народов.

В летнем семестре проф. Кларенс Маннинг прочел лекцию о Толстом и Торо, в которой провел параллель между этими гигантами духа; Марион Мур Колеман дала подробный отчет о «Британском общественном мнении и славянских народах» по отражению в литературе; выдающийся знаток русского театра Юлия Сазонова представила исторический обзор русского театра, вызвавший живой интерес у присутствовавших.

На деловых заседаниях обсуждались различные организационные планы и, между прочим, проект создания Русского дома. На заключительном заседании летнего семестра Елизавета Гиллер отме-

Н о в о с е л ь е

тила, что цель Кружка, это всестороннее ознакомление с прошлым и настоящим России. «Русский кружок, заявила она, это место, где мы встречаемся, чтобы научиться понимать Россию, ее культуру, ее наследие, ее философию. Члены Кружка должны способствовать обмену культурными ценностями между США и Советским Союзом». Е. Гиллер с признательностью отметила от имени всех членов Кружка неутомимую деятельность его основательницы Е. Т. Могилат, а также плодотворную работу г-жи Мальшевой и проф. Гроника.

Рождественская вечеринка Русского Кружка привлекла многочисленных посетителей и прошла с большим подъемом. В настоящее время Кружок готовит постановку пьесы Островского под руководством опытного русского дирижера.



International Book Service

Mrs. K. N. ROSEN

410 Riverside Drive, Apt. 141

New York 25, N. Y.

Книги о России на русском, английском и французском языках

Литература, история литературы, искусство, политика, экономика, история, театр, балет, словари, грамматики.

ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАННОМУ ЗАДАНИЮ

особенно по творчеству отдельных писателей и художников

Составление библиотек



Printed in the United States of America

by I. Rausen, 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y. GR. 5-9602

Residence AU 3-0310

Mido

FIRST CHOICE

for accurate wrist-time
for streamlined distinction



for Men

for
Women



They're accurate appointment-keepers, these streamlined, stylized wrist watches by Mido. Designed with true elegance for women — with powerful lines for men. 17-jewel movements.

NOTE: Mido Multifort Super Automatic and Mido Multifort watches (100% waterproof, shock resistant, and anti-magnetic) are **FIRST CHOICE** of service men and civilians because of the outstanding service they have rendered. Sorry, only a limited quantity is available at present for civilians, but remember, a Mido Multifort is worth waiting for.

'NOVOSSELYE'

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

330 West 72 Street, New York 23, N. Y.

ENdicott 2-1660

“ Н О В О С Е Л Ь Е ”

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$4.50, на шесть месяцев — \$2.50; в Канаде: на один год — \$5.00, на шесть месяцев — \$2.75.

Цена двойного номера — 60 центов

IN THIS ISSUE

 317

LEONID ZOUROV.....	A Night in Petrograd (A Story)
SOPHIA PREGEL.....	A Harlem Boy (A Poem) New England (A Poem)
NINA FEDOROVA.....	The Beauty (A Story)
ANT. LADINSKY.....	The Lyrical Theatre (Poems)
V. VARSHAVSKY.....	Lieutenant Danilov (A Story)
TATIANA OSTROUMOVA.....	A Poem
E. ROUBISSOVA.....	Metamorphoses (A Story)
P. STAVROV.....	Three Poems
ELENA ANTONOVA.....	A Poem
ALEXEY REMIZOV.....	Prishvin (An Essay)
VADIM ANDREYEV.....	The Happy House (A Memoir)
MARC SLONIM.....	The Changing Scene (An Article)
M. LASERSON.....	The Victory of Natural Law (An Article)
VLADIMIR DUKELSKY.....	Music in the Twenties (An Essay)
S. DUBNOVA.....	The Renaissance of Romanticism (An Article)
Y. TERAPIANO.....	The New Atlantis (An Essay)
N. OUGRIMOV.....	The Home-Towners (A Tale of the War)